

СЛОВО WORD

Журнал на русском и английском языках

**Литература Искусство
Общественные Проблемы**

ИЗДАТЕЛЬ:

Центр Культуры Эмигрантов
из бывшего Советского Союза

PUBLISHER:

Cultural Center for Soviet Refugees

СЛОВО-WORD JOURNAL

partially subsidized by

City of N.Y. Department

of Cultural Affairs

© All rights reserved

ISSN: 1042-7295

CULTURAL CENTER

FOR SOV. REFUGEES

SLOVO\WORD

P.O. BOX 1768

RADIO CITY STATION

NEW YORK, NY 10101-1768

E-Mail: slovo.word@gmail.com

Websites :

<http://issuu.com/slovoword/docs/slovoword>

<http://magazines.russ.ru/slovo/> (archives)

<http://litbook.ru/magazine/56/>

[http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-](http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-Word.html)

[Word.html](http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-Word.html)

Продажа на сайте AMAZON (#80 - #99):

<http://goo.gl/p5axx7>

Продажа на сайте LULU (#100+):

<https://goo.gl/ptr57z>

Название по каталогу OCLC:

Slovo: organ Tsentra kul'tury emigrantov iz

Sovetskogo Soiuza =Word

Главный редактор
АЛЕКСАНДР А. ПУШКИН

Зам. главного редактора
ЛЕВ БЕРДНИКОВ

Редакционная коллегия

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

ВЛАДИМИР КАНТОР

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

ВЕРОНИКА КУЗНЕЦОВА

ГЕННАДИЙ РАЗУМОВ

ЭДВАРДА КУЗЬМИНА

ВЛАДИМИР ОРНЫШ-ПОЛОНСКИЙ

НАДЯ РАФАЛЬСОН

СЕРГЕЙ ШАБАЛИН

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

Компьютерный дизайн

МИХАИЛ РОДИОНОВ

Editors:

ALEXANDER A. PUSHKIN

LEV BERDNIKOV

GALINA ITSKOVICH

DMITRY BOBYSHEV

IRINA CHAYKOVSKAYA

VLADIMIR KANTOR

IGOR MIKHALEVICH-KAPLAN

VERONICA KUZNETSOVA

GENNADYI RAZUMOV

EDVARDA KUZMINA

VLADIMIR ORNYSH-POLONSKY

NADIA RAFALSON

SERGEI SHABALIN

YEVSEY TSEYTLIN

Design

MIKHAIL RODIONOV

ПОЭЗИЯ

<i>Tino Villanueva / Тино Вильянуэва.</i>	
SO SPOKE PENELOPE / ТАК ГОВОРИЛА ПЕНЕЛОПА	4
<i>Юрий Михайлик / Yuri Mikhailik.</i>	
СТИХИ С ПЕРЕВОДОМ / TRANSLATIONS.	31
<i>Иван Волосяк.</i>	
СТИХИ.	42
<i>Галина Ицкович.</i>	
БОУЛИНГ ГРИН	44
<i>Евгений Степанов.</i>	
НА БЕЛОМ СВЕТЕ	46
<i>Ильман Юсупов.</i>	
Я ЖИТЬ НЕ СМОГ БЫ ПО-ДРУГОМУ...	48
<i>Наталья Кравченко.</i>	
ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ БЫЛА НЕ ОДИНОКА....	51
<i>Александр А Пушкин.</i>	
ТЕПЕРЬ.	54
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИХАИЛУ БРИФУ	58

ОТ РАССКАЗА ДО РОМАНА

<i>Владимир Алейников.</i>	
ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ: СМОГ.	59
<i>Леонид Рохлин.</i>	
РУСОВИРУС.	78
<i>Елена Литинская.</i>	
НЕЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ	84
<i>Владимир Шкерин.</i>	
ПЕРСТЕНЬ ИМПЕРАТОРА	101
<i>Элина Свенцицкая.</i>	
ЧЕТВЕРТАЯ МОЙРА	117
<i>Виталий Орлов.</i>	
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ	123

И МУЗЫКА, И СЛОВО

<i>Ада Айнбиндер.</i>	
„У ЧАЙКОВСКОГО БЫЛ БЕССПОРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАР“	126
<i>Виктор Фет.</i>	
„СЕРЕБРЯНАЯ РЫБКА“ НАБОКОВА	132

Сергей Зельдин.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 135

Урмат Саламатов.

В ПЛЕНУ 140

SUMMARY 142

Тино Вильянуэва

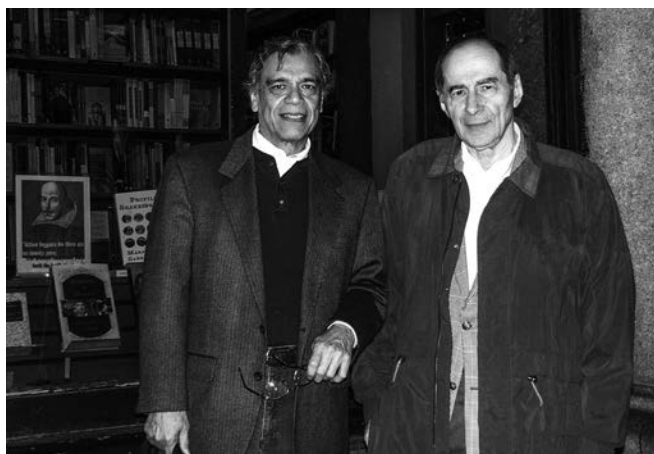
ABOUT „SO SPOKE PENELOPE“

Читая „Одиссею“ в переводе на английский язык, я с самого начала был очарован образом *многогрозной* Пенелопы. Удивила скупость, с какой она представлена у Гомера. Когда она уповает на богов и богинь, что она им говорит, о чем молит, как выражает свои опасения, как проявляет себя? В моём сборнике „Так говорила Пенелопа“, состоящем из тридцати двух текстов, есть два с упоминанием того, что Пенелопа ткачиха, говоря иначе, — художник. Гомер не сообщает, сколь искусна она в этом занятии. Мало говорится и об отношении Пенелопы к её сыну Телемаху. Она, „мать-одиночка“, растит своего ребенка, и Гомер почти не сообщает подробностей об этом.

В упомянутом сборнике („So Spoke Penelope“, Grolier Poetry Press, Cambridge, 2013) я и решил дополнить то, что, по моему мнению, необходимо было бы рассказать в „Одиссее“. И обычно упоминаю, что моя работа принадлежит традиции *мидрашей*, когда автор пытается дополнить, предоставить правдоподобные и достоверные данные с учетом времени, в котором происходит действие, в данном случае вокруг Троянской войны, и с учетом обстоятельств той эпохи.

Таким было изначальное намерение. Между прочим, у меня ушли годы, чтобы сочинить эти стихи, почти столько лет, сколько Пенелопа ждала Одиссея.

Тино Вильянуэва (1941, Сан-Маркос, Техас) — известный американский поэт, прозаик, эссеист и график, пишущий на английском и испанском языках, деятельный представитель культурно-этнического сообщества чиканос — латиноамериканского населения Юго-Запада США.



Тино и Павел

Тино Вильянуэва — автор шести стихотворных сборников, лауреат престижной премии *American Book Award* (1994). Его графические работы стали обложками нескольких американских и международных журналов.

Преподавал испанскую литературу и стилистику в Виргинском Колледже Уильяма-и-Мэри, в Университете Остин-Техас и в Бостонском университете. С докладами, чтением стихов выступал в Аргентине, Мексике, Германии, Испании, Франции, Голландии, Швеции и Греции. Его стихотворный репортаж „В Вашингтонском музее Холокоста“, в переводе Павла Грушко, был опубликован в нью-йоркском еженедельнике „Новое русское слово“. Последняя его книга „Так говорила Пенелопа“ — поэма в 32 эпизодах — опубликована на испанском, итальянском, французском и вскоре будет опубликована в Греции.

Павел Грушко (1931, Одесса) — известный поэт, драматург, эссеист и переводчик. Автор множества книг, пьес, либретто и др.

Tino Villanueva / Тино Вильянуэва

SO SPOKE PENELOPE / ТАК ГОВОРИЛА ПЕНЕЛОПА

Translated by Pavel Grushko

SO SPOKE PENELOPE

This is the palace where I've learned to survive;
where two years ago I embraced Odysseus,
stout son of Laertes, one last time—
one long embrace was all it took
to shape one heartbeat between us before he left for Troy.

This is the palace I walk around in
from hall to hall, a world of stone and wood that is mine.
This is the room where I work in wool,
and talk it out with myself;
where still awake I toss and turn,
pace around in the middle of the night,
convincing myself once more
that the earthly idea of love is still the life-blood of my body.

This is the palace where I wear the crown of faithfulness;
where the sound of the sea is the sound I think with.
Therefore, if I stand by a window expecting each time to see
the outline of a ship coming toward me,
what is it but my love,
and the passion time gives it to grow for Odysseus,
like-minded husband of the cunning mind, for whom I wait.

*So spoke Penelope when she awoke this morning;
when the golden cloth of dawn rose
out of the sea.*

THE WAITING

Has ever a woman waited like me...
waited and waited and,
if she hadn't,
would've had too much to lose—
would've been denied so terribly a husband,

1. ТАК ГОВОРИЛА ПЕНЕЛОПА

В этом дворце я научилась выживать,
здесь два года назад я в последний раз
крепко обняла Одиссея — могучего сына Лаэрта,
долгое это объятие
перед его отплытием в Трою соединило биение наших сердец.

В этом дворце я блуждаю по коридорам,
а это мои покои из камня и дерева.
В них я пряду шерсть
и размышляю вслух.
Едва проснусь, я кружу по этой обители,
отсюда посреди ночи выбегаю, сюда возвращаюсь,
постигая земной смысл любви,
когда живая кровь будоражит всё твоё тело.

В этом дворце я ношу венец верности,
здесь мои мысли питает гул моря.
Всё выглядываю, застыв у окна, не возникнет ли вдали
очертания плывущего ко мне корабля.
Это ли не любовь, палимая временем, любовь к Одиссею,
многоумному моему супругу, которого я заждалась,
и я верю, он тоже мечтает о встрече.

Так, проснувшись, говорила Пенелопа ранним утром,
когда златотканая заря наплыла
со стороны моря.

2. ОЖИДАНИЕ

Ждала ли хоть одна женщина, как жду я, —
жду-пожду,
а если бы не ждала,
только бы и осталось, что смириться
с горьким отсутствием мужа,

not to mention orchards, many,
droves of sheep and swine, plow-fields all around,
and twining vines for wine?

How many women, I wonder, have waited like me,
like me by the sea, with a racing caring heart,
women who waited, stood waiting,
lay waiting like me?

From where you are every night above me,
tell me with your truthful mouth, Sky-God Zeus,
tell it clearly to me, Athena and Apollo, luminous
gods and goddesses who inhabit the high halls of Olympus,

how many women before me
have waited like me?

HOW I WAIT

Today I sit by a window, my spirit
swimming out into the deep-azure-blue of the sea.
I'm a woman waiting, in love with a man,
and in love with the love we had.
I took an oath with myself to wait,
and keep passionately waiting
even after the great shining of the sun has worn away.

I pick up my sorrow and carry it to bed,
and wait some more
before sweet sleep weighs down my eyes.
Next day I rise,
and hear myself speaking words of all-abounding hope
...and go on waiting. These things I say aloud
to have clear thought,
to keep the day alive.

I'm a woman waiting,
waiting with the restlessness of sea-waves
repeating themselves in her head
like messages from afar.

IMAGINING ODYSSEUS

Day after day, my days are alike
as the grinding and sifting of barley and wheat;

в заботах о бесчисленных садах,
отарах овец, стадах свиней, пашнях
и виноградниках.

Много ли женщин, спрашиваю я, умели ждать,
как, в беспокойстве, преданно жду у моря я,
многие ли ждали, бродили до изнеможения
и ждали, как жду я?

Зевс, Бог Всемогущий, с высей, где ты объявляешься еженощно,
поведай мне прямодушными устами правду,
поведайте мне правду, лучезарные божества Афина и Аполлон,
обитающие на вышних склонах Олимпа:

много ли было женщин, умевших ждать,
как жду я?

3. ЗАЖДАВШАЯСЯ

Сейчас, когда я сижу у окна, моя душа
уплывает в море, растворяется в его бескрайней лазури.
Я женщина в ожидании, влюблённая в мужа,
влюблённая в нашу с ним любовь.
Я поклялась ждать,
вот и жду что ни день его возвращения,
вплоть до сумерек, пока не померкнет закат.

В скорби я иду спать
и жду ещё немного,
пока сладкий сон не сомкнёт мои веки.
Наутро я встаю,
вслушиваюсь в свои полные надежды слова...
...и снова жду... и думаю вслух,
чтобы не сойти с ума,
не ослепнуть от горя.

Я женщина в ожидании,
беспокойная, как волны моря,
которые накатывают на мой ум издалека,
взамен вести.

4. ВООБРАЖАЕМЫЙ ОДИССЕЙ

А дни проходят, одинаковые,
подобно просеянному зёрнам ячменя и пшеницы,

and times without number I've sighted Odysseus,
man of the manly build,
walking out of gray fog over the sea
from a journey too long to tell about
in a single night.
I am but dreaming when I see him walking with a purpose
this way toward the palace:

don't break stride through unfinished distance, say I,
in one quick breath,
wishing my words had the wing-beat of geese
at break of day.
I'm upstairs...here, take lovingly in your arms me.

After so long and this much said,
reason strikes me, as light shines on water, that his journey
won't end until he makes his way into our room,
lies in this tree-trunk bed
set down with the love we both expect.

PATTERNS THAT I WEAVE

Five years.
Five years my mind has wandered,
strayed off into a forest of confusion and more than once
lost its way back over rocky hills.

If only Odysseus,
man of the valorous will, could know my heart now beats
in two directions,
that back-and-forth I love him... I love him not:
I love him, and easily undo patterns that I weave;
I hate him, and do nothing else but weave
over-and-under-across-and-through-and-deep into the night.
I rest the shuttle to one side, and rub my hands,
and grow each day impatient—
I wasn't born to bear a harried heart.

Finally, at the moment of sleep when
flickering torch-lights are snuffed out,
one thought, irresistible, comes to me:

gods and goddesses—
it can't be said that they exist.
May one day their names be forgotten.

то и дело мне видится Одиссей,
человек бесподобного мужества
он возникает в серой дымке, окутывающей море,
в конце его странствия, настолько долгого,
что он о нём не расскажет за одну ночь.
В этом видении он приближается,
твёрдой походкой вступает во дворец.

Не оступись на этом последнем отрезке пути, шепчу я,
сдерживая дыхание, в надежде, что моим словам
достанет сил лететь, как лебедям поутру.
Я здесь... наверху...
обними меня, любимый, как можно крепче.

После долгих лет ожидания и всего сказанного
мне яснее ясного, что его путешествие будет длиться,
пока он не войдёт в нашу спальню,
не раскинется на ложе, вытесанном из ствола дерева,
во имя любви, которая нам так желанна.

5. ТКАНЫЙ РИСУНОК

Пять лет.
Пять лет мои мысли блуждали
в глухой чаще сомнений, столько раз возвращались
по скалистым холмам и не могли вспомнить дорогу домой.

Вот бы Одиссей,
мой отважный, бесстрашный муж, узнал,
что сегодня моё сердце мечется
между надеждой и отчаянием,
то люблю его, то, обессилев, распускаю тканый рисунок,
то его ненавижу, то снова тку,
вверх-вниз-вдоль-и-вглубь-ночи.
Откладываю челнок, разминаю пальцы,
тоска моя растёт с каждым днём.
Разве для того я родилась, чтобы печалиться?

И, наконец, когда я отхожу ко сну,
и, легко подув, гашу светильники,
мне приходит на ум тревожная мысль:

да существуют ли
боги и богини?!
Пусть бы однажды о них и забыли!

Is he shipwrecked, bruised
by the perils of the sea against some rocky shore...
or else swept out into the streams of Ocean?
I beseech you, gods Olympian: release him
from all trouble, and help him find his way back.

After all the fruitless years,
it weighs on my wit:
has he found...settled down with another woman?
I'll take him back—
Telemachus and I need him back.

In the end, did he breathe his last in battle...
is he dead and buried, olive trees growing
among his bones?
I pray to the deathless gods that round out the heavens
to bring his body back.

SHINING THROUGH

The wind blows,
and I can hear the leaves of orchards breathing.
On days like today I head outdoors
(with me follow three maids),
and welcome the plentiful draft of cool air full of sea.
Stone-tough is my hope this day, tough as Ithaca's bedrock
where I step.
O calm hope that carries me through.

Here I celebrate the red orb of morning
sliding out of the water, filling day with light.
Would that I could catch sight of a ship with taut sails,
well-made oars like wings flying toward me
manned by Odysseus out of the blue,
the man who in a cloud of dust won me in a footrace...
the man I learned to love and follow.

O brimming joy!—here I stand
full of plans for the day my husband
once more claims Ithaca home.
Even on days driven by rain,
dull-gray in the morning, storm-fed gray in the afternoon,
my lightning thoughts tell of signs I'm alive.
As long as the sun rises,
as long as olive trees grow, and geese occupy the sky

Он потерпел крушение, коварное море
бросило его на скалу,
и Океан тащит его в свои глубины?
Боги Олимпа, молю вас, защитите его
от всех бед, помогите ему вернуться.

Прошло столько лет одиночества,
и порой меня донимает тревога, —
не обрёл ли он покой с другой женщиной?
Что бы ни было, пусть он вернётся,
ради Телемаха и ради меня.

А, может быть, он испустил дух в сражении?
Может быть, погребён, и на его костях
вырастают оливковые деревья?
Бессмертные боги, обитающие на небесах, молю вас,
пусть мне хотя бы вернут его тело.

8. НЕ МЕРКНУЩЕЕ СИЯНИЕ

Подул ветер,
я слышу, как вздыхает в саду листва.
В такие дни с тремя рабынями
я покидаю дворец, чтобы насладиться
свежим морским ветром.
Моя надежда сегодня крепче скалы,
твёрже каменистых троп Итаки, по которым я блуждаю.
Ничто сегодня не поколеблет мою надежду!

Здесь, на берегу, я славлю красноватую сферу,
что поутру выплывает из морских вод, затопляя светом день.
Вот бы завиднелся вдали многовесельный корабль,
под раздутым парусом летящий ко мне, ведомый Одиссеем,
который однажды, весь в пыли, выиграв состязание в беге,
заполучил меня в жёны,
кого я научилась любить и за кем пошла.

Безгранична услада — мечтать на берегу о том,
что я сделаю в день, когда мой муж
вернётся в свой очаг на Итаке.
Даже в дождливые дни,
в серые тусклые рассветы и тёмные непогожие вечера
меня озаряет радость, что я живу мыслями о нём.
Пока будет всходить солнце
и расти оливы, пока будут застилать небо стаи диких гусей,

I shall ever look toward the sea for Odysseus,
man whose spirit shines through.

Now and then I'm convinced—
hope is a goddess looking over me.

PRAYER TO ATHENA

Blesséd goddess Athena, I come to you as suppliant.
Hear out each bit of my complaint:
first two, then five,
now nine years I have waited with all my might for Odysseus
to return from war, proper husband I am constant to
as the sun each day takes the sky
—nine years with no end in sight.
I know nothing of his whereabouts, nor if, in fact,
he ever reached Troy.
From this end of the earth on Ithaca, I turn to you for help
although nine years mean nothing to you,
and little to eternity.

How long must I keep company with my irritable self,
trapped in whichever palace room I roam,
made worse when my body moves in rhythm
as if in tribute to the moon?
At times I cannot even work the loom—
a cloth, half-finished, sits waiting for its other half
in a corner of the room; nor can I rid myself
of things familiar that take me by surprise:
wind-storms bring on nightmares of victims of a shipwreck;
the quietest of rain can bring on tears.

Pallas Athena, guardian of the glinting-eyes,
drop down from the clouds, and instruct me.
Reverse my tears, send me consoling dreams.
Otherwise, what am I to do—ten times repeat a prayer
at the altar-stone of Zeus? Or at the water's edge sacrifice a ram
to your uncle ranked with the immortals, Poseidon,
deep-down ruler of the sea?

Athena, send me a god or goddess who can guide my destiny
into the open arms of joy of dear Odysseus,
more than just a man—my husband, and father to my boy.

я буду озирать море в ожидании Одиссея —
светозарного, крепкого духом мужа.

Столько раз я убеждалась:
имя богини, которая меня опекает — Надежда.

9. МОЛЬБА К АФИНЕ

Славься, богиня Афина.
Внемли каждому слову моей мольбы:
сперва два, затем пять
и вот уж девять лет я жду возвращения с войны Одиссея,
славного моего мужа, жду-пожду
с постоянством солнца,
каждое утро овладевающего небом, —
девять лет, которым нет конца-края.
Не знаю, где он, и даже достиг ли он Трои.
Отсюда, с земли Итаки, я молю о твоём покровительстве,
хотя девять лет ничего не значат для тебя
и того меньше — для вечности.

Сколько ещё времени я должна провести
наедине с собой, с моим раздражением,
заточённая в палаты дворца, по которым я слоняюсь,
особенно, когда ощущаю лунные месячные приливы?
Иногда я даже вышивать не в силах,
наполовину вытканное покрывало
ждёт в углу комнаты, да и о повседневных заботах
я забываю, —
порывы ветра навевают мысли о тонущих моряках,
самый тихий дождь заставляет расплакаться.

О Афина Паллада, алмазноглазая наставница,
сойди с облаков и наставь меня.
Осуши мои слёзы, услади мои сны.
А иначе, что я должна делать, по десять раз возносить мольбы
перед каменным алтарём Зевса? Жертвовать у ручья ягнёнка
твоему дяде Посейдону, глубинному правителю моря,
причисленному к лику бессмертных?

Афина, какого бога или богиню умолить, чтобы вернули мне
сладостные, распахнутые объятия моего Одиссея,
не только любимого, но моего мужа и отца моего сына?

THIS DAY

10. ЭТОТ ДЕНЬ

This dull day
this dreary day
this bleak day

Этот день мрачный
этот день серый
этот день тусклый

this irritable day
this worrisome day
this fretful day
this exasperating day
this wretched day
this tormenting day

этот день жёлчный
этот день горький
этот день смутный
этот день скучный
этот день жалкий
этот день бурный

this joyless, dismal day
this somber day
this weary day
this doleful day

этот день скорбный
этот день тёмный
этот день хмурый
этот день вялый

this empty day
this inconsolable day
this depressing day
this pointless, ordinary day

это день пустынный
это день несносный
это день гнетущий
это день бесцельный

this day

этот день

DREAM

11. СОН

I reach up
and feel I am climbing,
climbing threads.
I climb short ones
—and stop.
Some feel like ropes,
which I climb and climb.
I cross over to grab another,
and climb some more.
I climb and keep climbing
and come to what looks
like a mountainside
ready to be climbed.
I step off and begin to climb it.
I climb past four eagles nesting that
fly away in different directions.
I climb and climb
rugged steeps of rock and brush

Я вытягиваю руку и чувствую,
что скольжу вверх —
вверх по нитям.
Карабкаюсь по коротким —
и застываю.
Одни кажутся наощупь канатами,
по ним я взбираюсь ещё выше.
Я ухватилась за другую нить
и поднялась ещё немного.
Продолжаю карабкаться
и достигаю гористого склона,
побуждающего
карабкаться дальше.
Я отпускаю нити и начинаю подъём.
Внизу я оставила четыре гнезда,
из которых четыре орла разлетелись в разные стороны.
И продолжаю подниматься
по зарослям неровного скалистого склона,

until I hit cloud-cover looming,
 turning into the shape of darkness:
 darkness crowding together,
 then separating; crowding together,
 separating.

I climb and arrive at a place
 where people find light:
 darkness above me;
 light straight below.

There I go falling,
 falling down a tangle of threads.

I grab one and hang on to it,
 and then another,
 and begin to descend
 like descending down ropes
 toward a bright field of waking.

I've come back,
 back through the lightness of light
 that astounds me.

I climbed and climbed, and was there—
 I was there, I tell you,
 and saw what I saw as clear as the loom
 here before me, here in sunlight.

SOMETIMES IN QUIETUDE

I lie awake and turn it over in my head
 that waiting for a man twelve years is useless.
 A man away that long
 should have the heart to send word home.
 Other times I try to have no thoughts at all, no thoughts
 On what the Fates are spinning out for young Telemachus,
 and me;
 on whether I can find it in myself to honor custom—
 to take another man in marriage, a father for my son,
 withdraw completely from this place,
 and not look back.

Nights, I try to find deep sleep, which easily
 doesn't come.
 Worst the nights of cold and frost when my longing
 drags my spirit down to the stony floor, the air
 moving through the branches
 jangling my nerves.
 In bed beside me—great gods in the morning,

пока не уткнулась в кровлю облаков,
 которые обернулись крошечной тьмой.

Эта тьма всё гуще,
 а потом она светлеет
 и снова густеет.

Я поднимаюсь ещё немного
 и попадаю туда, где есть свет:
 темнота надо мной,
 а свет внизу.

И тогда я падаю
 и попадаю в клубок пряжи.

И хватаю одну из нитей
 и прижимаюсь к ней, потом к другой,
 и начинаю как по верёвкам
 спускаться

в яркое поле света.

Я вернулась,
 вернулась, окутанная лёгкой пеленой света,
 которая меня изумляет.

Я поднималась и поднималась, я там была,
 я была там, верьте мне,
 и видела то, что видела так же ясно, как на ткацком станке,
 в лучах солнца.

12. НАЕДИНЕ С МЫСЛЯМИ

Я лежу, не смыкая глаз, и всё думаю,
 разумно ли двенадцать лет ждать мужа.
 Давно покинув дом,
 почему он не смилостивится, не подаст о себе вести?
 И порой стараюсь не думать, какую судьбу прядут Парки
 юному Телемаху и мне.
 У меня достало бы сил уважить обычай —
 повенчаться с тем, кто стал бы новым отцом моему сыну,
 и безоглядно покинуть
 этот очаг.

По ночам я пытаюсь уснуть,
 но это мне редко удаётся.
 В самых плохих ночах, студёных и заиндевевших, тоска
 влачит мою душу по оледенелым камням, ветер
 терзает ветви,
 играет на моих нервах-струнах.
 А на ложе рядом со мной боги — сколько их на заре! —

I'm married to the passing of time! What bliss is this,
counting the years in the dark...useless time
like a living thing I can't escape?

Warm nights are not much better
when tormentor Aphrodite overwhelms me
at the slightest movement I might make,
or when a lulling, loving breeze slips in through the window
and has its way with me,
wandering all along my naked skin.
How much are you a wife, my spirit finally asks,
if tomorrow you relent and take another man as mate?
Not much, comes my reply,
not much if you cast too soon bright hope aside.

And so I wait along the sands...and keep on
waiting for the whims of the gods,
the rocking motion of the sea
to issue up a man as much in love with me
as I with him.

IN COLOR AND IN CLOTH

It's done—finished.
Three days ago, as an impatient sun was dropping fast
behind the sea,
and a starlit sky appeared, I finished it—
a piece of cloth in wool that took too long to weave.
Half a year dragged on, but at last I have it:
the likeness of Odysseus,
splendid husband and gentle father to his infant son.
One day I managed from early dawn to dusk,
then until the brightness of the morning shone again
to keep on weaving, to get it right. And there it is
folded up across the bed in color and in cloth.

Now, when the sting of absence is too much,
when the weariness of why-keep-waiting wears me out,
I reach for it to satisfy my love-struck eyes.
The background: I've simply made it dark,
against which stands Odysseus looking rapt into my eyes.
Beside us, our longest table in the palace hall, and

и вот я жена бестротечного времени! Велика радость —
пересчитывать в темноте годы... годы
бесплодного времени, от которого не спастись.

Не лучше и душные ночи,
когда, стоит пошевелиться, как Афродита
окапывает меня жаром.
Или когда дуновение любви проникает в спальню
и, убаюкивая меня, творит со мной что хочет,
дерзко лаская мою наготу.
Много ли в тебе осталось верности, укоряет меня совесть,
если ты готова выбрать в спутники другого мужчину?
Не много, отвечаю я совести,
не много, особенно когда ты коварно гасишь свет надежды.

С этими мыслями я брожу по берегу
и всё жду милости от богов, надеясь,
что море, которое колышется предо мной,
вернёт мне, наконец, моего мужа, который любил бы меня
так же сильно, как любила бы его я.

13. ВСЁ ЦВЕТ, ВСЁ ТКАНЬ

Вот оно и готово.
Три дня назад, когда беспокойное солнце погружалось
в море,
уступая простор небу в звёздах, я закончила, наконец, ткать
заветное полотно.
Полгода минуло, и вот готово
изображение Одиссея,
прекрасного мужа и отца, обожаемого Телемахом.
От зари до заката я ткала не покладая рук,
иногда и по ночам, пока не начинала теплиться новая зоря,
трудилась, чтобы всё вышло как нельзя лучше. И вот оно
на постели, — во всей красе цвета и ткани.

Сейчас, когда жало разлуки терзает как никогда,
я обессилела от вопроса стоит-ли-так-долго-ждать,
я убаюкаю свой влюблённый взгляд его обликом.
Фон я выткала тёмным, и на нём вырисовывается Одиссей,
в упор на меня глядящий.
Рядом с нами самый длинный стол мегарона¹,

¹ Мегарон (др.-греч. μέγαρον) — греческий дом прямоугольно-го плана с очагом посередине. Послужил прототипом храмов в гомеровский период.

because he's speaking to me,
 I gave him speaking lips. He's telling me he doesn't
 care for war, that he loves me «to the Pleiades and back.»
 In turn, I'm offering wine to him from my wooden bowl.
 Standing there,
 long pose from each of us
 is what I remember most: he and I glowing
 from two bowls of sweet and mellow wine.

Need I say I pleasure in bringing out this piece of cloth—
 such felicity unfolding it,
 running my hands over it, and embracing
 both ourselves each time.

WHEN IT IS TIME

Down the path toward the shore
 past olive trees and barely-living grass between stones,
 I among maidservants
 glance out over water,
 and thrill to realize the presence of the sea with birds
 gliding in the sustaining air—
 wind enough for sails of a worthy vessel to sail home.

Sights like these hearten me to keep waiting for Odysseus,
 husband whose love was like rain
 breathing life into the earth.
 And there I shall be like a farmer
 waiting for fruit to fall when it is time.

How long, I ask myself, can I bear up
 to Aphrodite's visitation that drives me to headaches...
 makes me faint at the knees.
 In the name of love and things that go on living,
 O that Odysseus, sunrise of my life,
 could heed my call, rise out of the sea;
 that I could shut my eyes and bring him to me
 in goddess-like thought;
 that I could touch and be touched with love saved up
 year-upon-year,
 letting my body burn into him and together be one.

и так как мой муж, скорее всего, разговаривает со мной,
 я выткала губы полуоткрытыми.
 А говорит он, что война для него
 не главное, он любит меня, вот дожждётся Плеяд и вернётся¹.
 Я подношу ему вино в деревянной чаше,
 и мы застываем.
 Это мне больше всего и запомнилось: он и я, рядом,
 разгорячённые двумя чашами сладкого упоительного вина.

Добавить только, что я радуюсь каждый раз,
 расправляя покрывало,
 я поглаживаю его, и мы обнимаем на нём
 друг друга.

14. ПРИДЁТ ВРЕМЯ

В окружении служанок
 спускаясь по дороге, ведущей к берегу,
 рядом с оливами и травой, что пробивается меж камнями,
 я вглядываюсь в водный простор,
 и дрожу, взволнованная близостью моря и птиц,
 которые парят милостью ветра, —
 разве мало его, чтобы пригнать славный парусник домой?

Эти мысли утешают меня в ожидании Одиссея,
 любовь которого пролилась на меня, подобием светлого дождя,
 пробуждающего жизнь на земле.
 Словно садовница,
 я жду, когда, наконец, созреет плод.

Долго ли ещё выносить явления Афродиты,
 которая донимает меня так,
 что у меня начинают дрожать колени?
 Во имя любви и всего живого,
 пусть Одиссей явится ко мне, как заря,
 отзовётся на мой зов, явится из моря,
 вот бы зажмуриться и одной только мыслью привлечь его,
 как это делают боги, вот бы мы коснулись друг друга,
 вот бы свела нас вместе любовь,
 которая копится год-за-годом в наших телах,
 когда моё тело, верю, пылает в его теле, соединяя нас.

¹ Плеяды наблюдаются по ночам в районе Средиземного моря с середины мая по начало ноября — период активных торговых путешествий в античные времена. Плеяды (созвездие) считались покровительницами моряков, а их восхождение весной считалось началом наиболее благоприятного периода для навигации.

Still and all, what to do when love washes over me
head to toe, my body awake as sea-waves that do not sleep?
Does any god care about us mortals in love,
care that love loves to be loved,
but by the right lover?

For the moment, may Aphrodite keep her distance,
and not seize me in her grip,
for that's when I unravel and doubt my gift as wife,
the wife of irresistible Odysseus, complete and shining husband,
the man, as much now as then, I love.

THIS THIRSTING EARTH

Clouds and more clouds. All these I see
laid out, barely moving, flat-gray all of them,
quickly darkening,
and soon enough everything is ominous in slow flight.
They ebb and flow,
stream along and swirl as well,
gathering up like flocks of sheep around the sun,
barely letting happiness shine through.

Then came today when clouds took up every bit of sky—
one vast extension of gray,
like the surf rolled in,
hanging there on nothing, wanting to
drop rain.

Here on Ithaca, alas, we had no favoring rain today,
no sun.
And I, who am Penelope, living mother of a living son,
neither got Odysseus back,
husband whose love I miss on awakening,
nor chose to take a suitor as my man.

Rain-God Zeus, do send rain when the thirsting earth
feels deprived.
Make it a cloudburst, a downpour with lightning strokes
if you choose,
and a rumble of thunder
to make me feel alive.

Между тем, что мне делать, когда я с ног до головы
пропитана любовью, а моё тело бессонно, как прибой?
Есть дело до нас смертных богам, заботит их,
что любви любо быть любимой,
особенно, когда любят так сильно?

А пока Афродита сторонится меня
и не кладёт мне на плечо свою властную руку,
я разрываюсь в сомнениях: достойна ли я быть супругой
неотразимого Одиссея, совершенного, блистательного мужа,
человека, которого я всё так же горячо продолжаю любить.

15. ЭТА ЖАЖДУЩАЯ ЗЕМЛЯ

Тучи, сплошь тучи. Я их вижу
они обложили небо, почти неподвижные, пепельного цвета,
темнеет,
и вот уже всё вокруг выглядит зловещим.
Они плывут и плывут,
клубятся
сплываются, теснятся вокруг солнца, словно отары овец,
не позволяя пробиться лучам радости.

И вот уже они застлали почти всё небо —
бескрайнее свинцовое покрывало,
повисшее не весть на чём,
похожее на волны, готовое
пролиться дождём.

Здесь на Итаке, к несчастью, не было сегодня благодатного
дождя, не было солнца.
И я, Пенелопа, живая мать живого сына
всё ещё жду Одиссея,
мне так его не хватает, когда я просыпаюсь,
ничто не заставит меня найти ему замену.

Зевс, Божество-Дождя, ниспошли влагу жаждущей земле,
которая так нуждается в ней.
Пусть дождь будет сеяным или, если ты того пожелаешь,
проливнем с молниями
и с раскатами грома,
которые дадут мне понять, что я жива.

POSSESSED BY DOUBT

Do not be cross with me, Odysseus,
 source of my worry and my woe,
 if by and by I loathe you for the anxious nights
 you give me, nights that wreck me to the core.
 What's more and must be said in this battlefield of love:
 time and time again I love you,
 then I go the other way
 and love you not.

Day in, day out, each day that travails me
 when I feel denied, when
 my unsleeping thoughts go round and round my head,
 I cry out your name as if it were honey
 on my tongue—the sound resounding in this room,
 giving hope to this island realm, and me, alone.
 Whereupon I smile to swallows
 high in the warm air, going past with a will to fly.
 Soon after in the spread of stars
 I find reason to love you,
 and then another...and another.

Still and all, Odysseus,
 grief-giver of a husband, destróyer of hearts,
 let me not die aching in one place.
 I loathe you for your absence, for the sorrow
 that lowers me to bed weeping;
 for keeping Telemachus, our son,
 and me, your wife, waiting;
 for sending no message down the years—
 no final word to soothe this range of anger,
 this heart beginning now to be possessed by doubt.

IN THE COURTYARD

On a perfectly serene and splendid day,
 as it was today when my spirit soared with the sun,
 and now sails with the stars,
 Odysseus, the great attainment of my life,
 will set his sights on home
 as swallows will from higher air,
 to Ithaca return, to this kingdom,
 this palace, to me—of this I'm convinced.
 Once in my arms, husband only one, lover only one,

16. В ПЛЕНУ СОМНЕНИЙ

Не гневайся на меня, Одиссей,
 повинный в моих терзаниях и бессоннице,
 за то, что скорбными ночами, гнетущими моё сердце,
 я клянусь тебя.
 Прости, что в этой любовной муке,
 бесконечно любя,
 я иногда чувствую,
 что перестаю тебя любить.

Что ни день,
 огорчаясь и чувствуя своё поражение,
 я позволяю докучливым мыслям кружить мне голову,
 и тогда твоё имя на моём языке словно мёд,
 оно заполняет дворец, всё островное царство
 и всю меня в моём одиночестве.
 И тогда я улыбаюсь ласточкам,
 которым от этого ещё радостнее кружить в тёплой выси.
 А с наступлением сумерек усыпанное звёздами небо
 наделяет меня множеством резонов
 тебя любить.

Как бы там ни было, Одиссей, муж,
 терзающий моё сердце,
 не допусти, чтобы я умерла здесь от горя.
 Я ненавижу тебя за твоё отсутствие, за страдание,
 причинённое мне, рыдающей на нашем ложе,
 за то, что я родила тебе Телемаха,
 за то, что я, твоя жена, жду все эти годы
 хоть какую-нибудь весточку от тебя,
 хотя бы одно слово, которое уняло бы поток моей ярости,
 утешило бы сердце, в котором поселилось сомнение.

17. ПОД ЗВЁЗДАМИ

В один прекрасный спокойный день,
 подобный этому, когда моя душа пробудилась вместе с зарёй,
 а сейчас кружится вместе со звёздами,
 Одиссей, бесценный дар моей жизни,
 устремится к своему очагу,
 как это делают перелётные ласточки,
 чтобы возвратиться в Итаку, в своё царство,
 в этот дворец, ко мне, — я уверена, так будет.
 И тогда мой единственно любимый муж и я,

we shall reverse the failure of fifteen years
without each other, for love touches those
who've loved before.

Such endless thoughts I can't refuse tonight—
the Pleiades above,
and three handmaidens at my side.
All sleepiness withdraws as we stroll past Zeus' altar,
breathe in the coolness of the air,
the instant brightened to its brightest.
O glorious Pleiades drawn against the sky,
which I can only see by stepping out into the night,
I accept your light with open arms.

May affectionate, great-hearted Odysseus
reach up with his eyes as I tonight
to the far-away star-shine of the sky.
Let the Pleiades be the place where we both meet
as in a kind of dream—
husband and wife wishing on the same thing.

A WIDTH OF CLOTH

Give me the craft of weaving, more subtle than working with bronze; stone's too brutish, too heavy, too cold. A piece of cloth: first I make it in my mind and keep it there, blending in the figures and designs against the background that I want, adding and subtracting as I please, sitting with my thoughts; which is to say, a width of cloth of any type starts with nothing, if nothing is whatever an empty, wooden, upright loom is set to hold. The thrill of yarn comes later when, finally, I've chosen from a basketful of unshaped, jumbled colors of spun threads, mindful that the ripper colors are sometimes best; yet, with the blush of others, a warmer light fulfills the eye as well. Then, and only then, with confidence, do I push the shuttle through, over-and-under-up-and-down-and-back-and-forth. It's not easy turning feelings into cloth. But once I make my way into the work, each time I weave the strands across-and-through, and tie-and-knot-and-cut-and-weave some more, the worthiness of cloth tightens as when any bard takes a story and lifts it into song, word-on-word strung around the strumming of his lyre. Phase by phase I shape it into the world I know—I can see it, and my fingers know it when the yarn slips through them many times and more, fingers working spider-like. When I think I'm through, I'm not, which makes me take a different turn where I unweave, change the pattern of the

обнявшись, устраним тяготы
пятнадцатилетней разлуки
любовью, которая согревала нас прежде.

Бесконечные думы, подобные этим,
переполняют меня этой ночью,
с Плеядами в выси и тремя служанками у порога.
Дремота улечивается, когда я прохожу рядом с алтарём Зевса,
вдыхая прохладный воздух, —
ничто не сравнится с этим мгновением.
О, славные Плеяды, украшающие небосвод,
едва увижу вас ночью,
я встречаю ваше сияние распростёртыми объятиями!

Пусть нежно-любящий добросердый Одиссей
этой ночью, подобно мне, вскинет руки и устремит взгляд
к далёкому звёздному сиянию.
Пусть Плеяды в подобии сновидения
станут местом свидания
мужа и жены, охваченных одинаковым желанием.

18. ТКАНЬЁ

Тканьё — ремесло, куда более тонкое, нежели грубая и холодная обработка бронзы или камня. Сперва в уме я творю узор и храню его наедине с моими мыслями, — в уме возникает выбранный мною фон, силуэты и рисунки, которые я исключаю или оставляю по своему вкусу в кругу моих раздумий, — так любой лоскут ткани возникает из небытия, именно небытие помещается на вертикальном ткацком станке из дерева. А уж там нить пробуждает во мне волнение, когда я извлекаю её из пёстрой корзины с бесформенными мотками пряжи, сознавая, что иногда наиболее открытые цвета наилучшие, и вместе с другими, более мягкими, они ослепляют глаза. И тогда, только тогда я решительно запускаю в нитяные дебри челнок, вожу им вверх-вниз-влево-вправо-вперёд-назад. Непросто — вплетать в ткань чувства. Но начав, каждый раз, когда я сплетаю нити, каждый раз, когда я связываю-завязываю-узелки-обрезаю-нить-и-тку-дальше, — ткань становится всё убедительнее. Так аэд превращает рассказ в напев: связывает слова, перебирая струны своей лиры. Кусок за куском я придаю ткани форму, пока не соединю её с моим миром, я могу видеть его, мои пальцы узнают его, когда нить снова и снова скользит по моим пальцам, которые трудятся, подобно паукам. И когда я думаю, что завершила свой труд, это не так. И я запускаю

lines, draw another color in. And I alone working, keep within this room with such driven-woman diligence that, at times, I fail to eat and, for a moment, whatever ails me is no more. I thank the gods I have no bronze to beat or bend; no block of stone to punish. O blessed be the craft of weaving, more subtle than working with bronze. Stone's too brutish, too heavy, too cold.

JUST AS THE SEA

Cast your eyes in my direction,
gods who reside in the upper deep;
give me the solitude without the loneliness
as the sun sinks fast beyond the sea,
then see how much I am drowning on this island,
my need to hope so hungry
I quiver with unrest.

Once more the pears and pomegranates ripened;
the vines have given up their fruit...
and one more year, the seventeenth, is almost in decline.
The next day Ithaca keeps burning in the sun
with so much water shining round it,
its rocky hills thirsting for cool rain.
If I, Penelope, could dream the dreams of the sea,
and have the water speak to me the secrets it may hold,
then might I find my way to Odysseus,
husband handsomest of all.

Give me a sign, dear gods just over the horizon,
that my husband will step off his lean, black ship one day,
will make Ithaca once more his home
just as the sea each day mounts the shore
and loves it.

TODAY I DID ALMOST NOTHING

Today
I dwelt in my room...did almost nothing.
Kindest woman Eurycleia brought me food,
which I took in bed—cheese and honey, a piece of barley
bread.
A blank tapestry of day went by, colorless,
inspiring nothing, revealing nothing.
I renewed myself in a clean tunic,
and thinking all around I thought about Odysseus,

ткань, меняю рисунок, вплетаю другой цвет. И когда со всем женским прилежанием я тружусь в одиночестве, я порой забываю поесть, и ничто не может меня изнурить. Хвала богам, что я не должна ковать бронзу и тесать камень. Благословенным будь ремесло тканья, которое намного тоньше, нежели грубая и холодная обработка бронзы или камня!

19. ПОДОБНО МОРЮ

Вглядитесь в меня, боги,
обитающие в недостижимой выси,
помогите одинокой не испытывать одиночества.
Сейчас, когда солнце стремительно канет за море,
видите, как глубоко я тону на этом перешейке?
Я так заждалась мужа,
что дрожу от нетерпения увидеть его.

Снова созрели гранаты и груши,
лозы поделились своими гроздьями.
Ещё один, семнадцатый год на исходе.
Итака завтра всё так же будет сгорать под солнцем,
хотя столько вод сияет
вокруг её обрывистых берегов, заждавшихся свежих дождей.
Если бы я, Пенелопа, могла грезить грёзами моря,
если бы вода открыла мне хранимые ею секреты,
может быть, тогда я нашла бы путь к Одиссею,
мужу, самому красивому из всех.

Любимые боги, подайте мне знак из дальней дали, уверьте,
что однажды мой муж сойдёт с узкого, тёмного корабля
на землю Итаки, своей утраченной родины,
подобно морю, которое всedневно обнимает берег
в неизбывной своей любви.

20. СЕГОДНЯ Я ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА

Сегодня
я осталась в моих покоях, почти ничего не делала.
Эвриклея, самая приятная из прислужниц,
принесла мне в постель еду, — сыр, мёд
и кусок ячменного хлеба.
День этот был как бесцветный,
невзрачный ковёр.
Я облачилась в чистую тунику
и всё думала об Одиссее,

husband beloved who, when we kissed, made love swell
inside me.
Thought about war
...war that spoils the ties of love and mocks my marriage;
thought about this palace, life without it
should it come down to marrying a suitor;
hoped, too truly, my son will not lose out
on his royal rights from birth—
cattle grazing,
sheep and goats aplenty,
plow-lands everywhere and bounty on them.

Today
I kept to my upstairs room where I didn't work in wool,
gave no orders to house servants to draw water
from the spring.
From the big hall down below:
the lordly suitors,
their low-slung utter drifting up into my room.
A milder light of twilight carne, and stayed awhile;
the cicadas chirring stopped.

From my window: the calm eternity of the sea
went out of sight.
I must've muttered something, for then I heard
much-knowing devoted Eurycleia:
«...and twice you sighed, good queen,
while staring out the window. Such long despair
I've never heard before.»

Today I awoke,
and looked forward to nothing in the day at all—
the sun came up,
the sun went down.
The day went like that.

GOD OF EXTENDED BLUE WATERS

Poseidon, God of Extended Blue Waters,
hear me out. The ships I see
a great way off
make the heart soar on wings of contentment.
Their shapes arise shimmering on water,
and I pray to the all-imposing gods
that Odysseus, husband of the steadfast mind,

любимом муже, чьи поцелуи опаляли любовью
всё моё существо.
И думала о войне,
которая разрывает узы любви, глумится над супружеством.
И думала, что станет с этим дворцом,
если вдруг случится помолвка с одним из женихов,
тревожась о сыне, который потерял бы
своё врождённое право на царство,
стада на пастбище,
отары овец и коз,
и окружающие дворец благодатные пашни.

Сегодня
я оставалась наверху в моих покоях, не ткала,
не приказывала служанкам приносить воду
из источника.
А в большом мегароне внизу
теснились блистательные женихи,
чьи неясные голоса долетали в мои покои.
Смутный закатный свет не гас какое-то время,
пока не исчез вместе с напевом цикад.

В моём окне исчезла
вековечная безмятежность моря.
Должно быть, я что-то шептала, потому что услышала
голос мудрой преданной Эвриклеи:
«Добрая царица, вы уж два раза вздохнули,
глядя в окно,
да так безутешно».

Сегодня я проснулась,
ничего, совсем ничего не ожидая от этого дня.
Был восход,
был закат,
а больше ничего и не было.

21. БОГ БЕСКРАЙНЕ СИНЕЮЩИХ ВОД

Посейдон, Бог бескрайне синевящих вод,
услышь меня.
Корабли, возникающие на горизонте,
окрыляют радостью мою душу.
Их силуэты зыбко дрожат над водой,
и я молю всемогущих богов:
пусть Одиссей, мой многоумный муж,

commands one, and leads the way home.
A certain joyfulness enters the room,
and for a moment grief subsides,
all misery lifted from me.
Alas, ships sail on past Ithaca.

Just yesterday, late afternoon,
thick fog on the ground having lifted:
three serving-girls joined me for a walk
along the shore and the sounding of the sea.
We heard the slam of surf
against dumb rock,
the swishing to-and-fro of foam.
The wide way of the sea was before us,
when a glint of hope showed through
from the deepest part of distance.
We didn't have to strain to see it twice
...and once again—mast and sail perhaps;
sun striking oars in-and-out of water.
The maidservants swore they were ships.
So did I.

To have seen what I saw,
then have it turn to haze or mist—O Poseidon,
all hope went under...I blinked a tear,
cursed the open sea in one long breath.
I know now you were behind it,
and false hopes that ache on me
I do not need. Things like that age a woman.
And that rainbow afterwards—
you sent it, I daresay, to spite me. If this be true:
into the bottom-most pit of the sea with you.

Hear me now, Earth Shaker God,
tease me not with the falsehood of your waves;
no more tricks from you—play not with my heart.
Keep away the awful plotting that you weave
into the fabric of my days
already worn, and frayed.

ANOTHER PRAYER TO ATHENA

Shining-eyed Athena, favorite daughter of Zeus,
may these words reach you at the speed of my voice,
and make sense as threads gathered on a loom.

правит одним из них на пути к дому.
В эти минуты робкая радость проникает в обитель,
щемящая боль на миг утихает,
а печаль кажется светлой.
Но корабли мне на горе минуют Итаку!

Вчера, едва стали сгущаться сумерки,
я вышла с тремя служанками
на берег шумного моря,
где мы слушали, как гулко волны
разбиваются на глухой скале,
с каким звонким журчанием
пятится пена.
Беспредельные воды простирались перед нами,
и вдруг вдали возникло
обнадёживающее видение.
Не стоило большого усилия увидеть...
так явно... мачту... парус на ней...
и вёсла над водой.
Служанки клялись, что это корабли.
Я тоже увидела их... и то, как они

обратились в туман... в изморось. О Посейдон,
все мои надежды угасли... Зажмурившись,
я не сдержала слез
и долгим стоном прокляла море.
Я знаю, Посейдон, это твои проделки,
это ты пробуждаешь пустые надежды. Не хочу
томиться ими. Подобные вещи старят женщину.
Знаю, этим радужным видением
ты решил меня уязвить.
Так сгинь же в самом тёмном гроте на дне.

Ты слышишь меня, Сотрясающий Землю Бог,
не глумись надо мной ложью своих волн,
не увлекай в свои сети, полно терзать моё сердце.
Перестань терзать
и без того истрёпанное
полотно моих дней.

22. ВТОРАЯ МОЛЬБА К АФИНЕ

Ясноокая Афина, любимая дочь Зевса,
внемли этим порывистым словам,
которые, подобно нитям, ткнут полотно моего горя.

For eighteen years Odysseus,
husband who sails in my mind against a sky set blue,
has been gone.

As for the sea swaying, forever alive—
it answers me nothing,
only ships ghosting-up in mist that do not stop,
ships as close as my voice can carry in the wind.
And that mocking throng of suitors,
low and gross,
keeps wearing down my patience.
I turn away from them, and ask myself:
what duties should now my life
obey, those of a widow
or those of a wife?

More than once, Athena, I have felt
the weariness of land-life, the pull of the sea.
If only I were not mortal, not a woman,
I would command ships
to far-lying islands, and with me Telemachus,
a crew of men and women: Eurycleia,
whose mind knows many things; fifty maidservants;
Eumaeus too, and faithful herdsman Philoetius,
and binder of words Phemius,
court herald Medon, and old man Dolius—
to look for Odysseus, man of lovingkindness,
and to whom I owe this woe.

Athena, third-born daughter of Zeus,
speak to my mind and tell me life will soon be sweetness;
that before long, I pray,
my river of sorrow will run into his sea of love,
breaking over me wave after wave...

THE SUITORS

Those blasted blustery brutes:
the crudest of the crude crowding my thoughts.
Rain or shine,
it's them again—rowdy louts befouling the air
with the rough language of their praise.

Восемнадцать лет, как мой муж Одиссей,
покинул меня, заставляя терзаться
под этим ослепительно синим небом.
Море, такое живое в своём колыхании,
ничего не рассказывает мне о нём, только насыляет
наваждения далёких, окутанных дымкой кораблей,
пропадающих, как мой голос,
который становится эхом.
А шумная свора
неотёсанных, гнусных поклонников
продолжает испытывать моё терпение.
Я сторонюсь их, но спрашиваю себя:
какая судьба мне уготована —
судьба вдовы или супруги?

Столько раз, Афина, меня пресыщала
эта земля и прельщал зов моря.
Не будь я смертной женщиной,
я бы повела корабль
к самым далёким островам, со мною плыл бы Телемах
и команда мужчин и женщин:
всезнающая Эвриклея и пятьдесят служанок,
а также Эвмей¹, добрый коровник Филетий*,
кифаред Фемий*, вестник Медонт*, и старец Долий*,
чтобы отыскать Одиссея,
бесконечно нежного моего мужа,
кому я обязана этой скорбью.

О, Афина, третья дочь Зевса,
уйми мои терзания, уверь,
что недолго осталось ждать,
что вскоре реку моей скорби примет море его любви,
омывая меня волнами счастья...

23. ЖЕНИХИ

Эти тупые злобные животные,
самые неотёсанные из всех подобных, будоражат мой ум.
Идёт ли дождь или палит солнце,
эти кичливые мужланы, ранящие слух грубой лестью,
теснятся во дворце.

¹ Эвмей — раб Одиссея, который сохранил верность старому хозяину, Пенелопе и Телемаху. Филетий — старший коровник в хозяйстве Одиссея. Медонт — геральд. Фемий — певец-аэд, сказитель народных песен. Долий — старый раб Одиссея.

From up here
they're sound in my ears, pure chatter,
low-cunning boastful men who wear no patience
...loud, saying nothing that matters.

Me, I've grown stubborn all these years. As have they.
The more I refuse them the more they desire me on and on
as they would sweet figs glowing
in someone else's orchard,
fruit they'll never eat,
all the while emptying the larders, butchering my cattle,
swilling my wine.
The mess they daily make
my poor maidservants unmake with the same sore hands
that scrub the floor and grind the grain.

What remarkable occurrence, indeed,
if I could lead them to a crossing point,
a contest of some sort—a test of strength of much devising,
where each would fall or fail into defeat.
After all, not one suitor I'd want to hug to my breast:
nor brash Amphinomus, nor Eurymachus nor Antinous.
One delightful day, if I can hold my ground,
I shall greatly welcome
their departure.

I may, on occasion, groom myself to strike a better presence—
to look attractive, you might say,
and so they gaze their fill whenever I'm downstairs.
How flattered they must feel
thinking I'm doing it for them.
But little do they realize
when they see me smiling through my veil,
that I'm smiling with my mouth,
not with my eyes.

At last—at last it's night,
and each suitor has repaired to his home, out of sight.

I breathe the fresh, clean air.

COME TO ME

Come to me
as a far-away star would reach me, Odysseus,

Ко мне навверх
едва доносится суматошный ор
этих суетливых лукавых болтунов,
их шумные пустые речи.

За эти годы я стала упрямой. Подобно им.
Но чем больше я упорствую, тем настойчивей их домога-
тельства,
словно их манит в чужом саду
спелая сладкая смква,
которую они никогда не сорвут,
вот и потчуют себя моей едой и вином.
Вседневный беспорядок от их толчеи должны устранять
мои бедные служанки: своими натруженными руками
они скребут полы и мелют зерно.

А что если пойти на хитрость:
предложить померяться силой в единобестве,
когда каждый окажется на земле,
потерпев поражение.
Ни одного из них я не хотела бы прижать к груди:
ни дерзкого Антинома, ни Эвримаха, ни Антиноя.
И если я останусь твёрдой, то это и будет наградой
моему Одиссею в прекрасный день
его возвращения.

Может стать даже, что я принаряжусь,
чтобы лучше выглядеть, и они будут
во все глаза таращиться на меня, когда я спущусь в мегарон.
Вот уж загордятся,
решив, что я сделала это для них.
Разве догадаются,
увидев мою улыбку под покровом,
сколько холода
в моих глазах...

Наступила ночь, один за другим
ухажёры отравились восвояси, сгнули с глаз.

И я вдыхаю полной грудью свежий чистый воздух.

24. ПРИДИ КО МНЕ

Приди ко мне
лучом далёкой звезды, приди Одиссей,

husband whose love alone allays me.
Come to me as a jolt of hope through darkness.

Come to me as moonlight, or a bright sun,
or simply as light from palace torches at night
cast upon the work of hands on wool, upon my loom.

Come to me as glistening waves advancing evermore
toward the shore.

Come to me in whichever radiance of light you desire.

PHEMIUS, THE BARD

Phemius, the bard,
was singing to a crowd of suitors today.
I could hear him from my upstairs room,
singing of ancient peoples warring,
going on about who won, who lost, who fell
slaughtered to the ground,
dragging and drowning his voice for effect,
bringing the right hurt
to the notes.
No sooner had he finished with the past
than he shifted to the present, taking distance away
to make us feel the battlefield at Troy—
no doubt he knew his song well before singing.
What Phemius doesn't realize:
I can do without the outburst of his words;
people have not always relished war,
and the rage of armies clashing gives me pain.
Why sing that dead and bloodied flesh is what remains
for carrion birds and fierce dogs snarling?

So too his lyre, tuned tight,
was grating on my nerves.
He struck no errant note, and twice he made it moan
like a heart that's torn.
If done right, what tells the story, short or long,
is also in the music and its beat,
and I'd had enough of his hard-strummed song.
They finally roused my ire, those lower-pounding notes,
and the way he stressed his words:

мой муж, чья любовь неизменно меня утешала.
Приди ко мне лучом надежды в потёмках.

Приди ко мне светом бледной луны или слепящего солнца,
или хотя бы мерцанием факелов во дворце,
которые озаряют по ночам мои руки на ткани.

Приди ко мне блеском волн,
накатывающих на берег.

Приди ко мне в любом проблеске света, который тебе по душе.

25. АЭД ФЕМИЙ

Фемий, аэд¹,
пел сегодня для оравы моих женихов.
Его напев о кровавых побоищах прошлого
доносился наверх в мою палату: он упивался рассказом
о победителях и о тех, что потерпели поражение,
пали сражённые на землю.
Он пел то возвышая, то понижая голос,
наделяя ноты
истинным волнением.
Покончив с прошлым,
он перешёл к настоящему и, устранив расстояние,
увлёк нас в Трою, в самую гущу сражения,
наверняка он сложил этот напев не сейчас.
Фемий не догадывается,
что его шумный напев о сражениях не по мне,
что во мне отзывается болью
ярость враждебных ратей.
Зачем петь о недвижных окровавленных телах
на поживу хищных птиц и диких рычащих псов?

Его искусно настроенная, звонкая лира терзала мои нервы.
Казалось бы, он ни разу не сфальшивил,
и даже дважды заставил лиру стонать так,
словно у неё разрывалось от боли сердце.
Какой бы ни была музыка, краткой или долгой, если она искусна,
её ритм и лад поведают всё и без слов.
А сейчас меня раздражало это громкое бречание,
а больше всего бесили громкие всплески звуков
и выпретенных слов:

¹ Аэд — певец, сказитель народных песен.

Go ahead, deadly archer, Artemis divine,
make them whistle through the air
and their aim be true—
a quiver of arrows launched from your silver bow
finding their mark,
here,
the center of my heart.

SPEAKING AS MOTHER

Eyes closed,
I bore down and pushed, breath coming short
...but pushed some more.
And then, from my belly, emerged a morning sun

—that’s how Telemachus crowned, and rose from me,
beautiful, in painless birth. Divine Eileithya,
divine Artemis, a hundred-fold I blessed them;
and in my arms, my son.

My one thought—: he’ll rise to fill a doorway like his father,
shoulders just as broad.

And so I nursed him sweetly, setting it my task
to make him know the well-shared customs of Achaeans.
I’m sorry for the mother who, by herself, has had to raise a son,
her husband off at war
—I’ve done my best.

«Careful not to smother him with love.» The voice
was Eurycleia’s, clear from across the room.
She went on, unwinding balls of purple, black, and yellow yarn,
placing them in different baskets for my tasks.

«Let him go from your watchful gaze, dear queen;
see to it he makes decisions on his own.»

I understood her caring ways, and agreed to let him play
and roam around the palace grounds, the nearby fields,
playful Argos bounding at his heels.

Boys being what they are:
at eight he turned some sticks and stones

Вперёд, смертоносная лучница, божественная Артемида¹.
Пусть просвистит в воздухе
стая твоих метких стрел,
пущенных из серебряного лука,
пусть вопьются
в самое моё
сердце.

27. СЛОВО МАТЕРИ

Зажмурившись,
я тужилась и тужилась, почти утратив дыхание,
тужилась из последних сил.
И тогда из моего чрева возшло новорождённое солнце.

Так показалась головка прекрасного Телемаха,
он покинул меня при безболезненных моих родах.
Божественная Илифия², божественная Артемида,
столько раз я вас прославляла, и вот мне на руки лёг мой сын.
Об одном я желала, чтобы он вырос высоким и широкоплечим,
чтобы, подобно отцу, с трудом протискивался в двери.

Я с нежностью вскормила его, прививая ему
обычай ахейцев.

И страдаю, что должна растить сына одна,
без мужа, который воюет, —
ну что же, что могла, то и сделала.

«Смотри, не утопи его в своей любви, — говаривала Эвриклея,
распутывая в другом конце комнаты
мотки пурпурной, чёрной и жёлтой пряжи для моего тканья
и раскладывая их по разным лукошкам. —

Не утоми его, любимая царица, зорким вниманием,
пусть сам решает, что ему делать».

Я вняла её сердечной чуткости и позволила сыну
играть и бегать в садах дворца и в ближних к нему полях
с игривым Аргусом, неотступно носившимся за ним.

Дети есть дети:
в восемь лет он сладил из нескольких жёрдочек

¹ Артемида — в древнегреческой мифологии юная богиня охоты, плодородия, женского целомудрия, дающая счастье в браке и помощь при родах.

² Илифия — в античной мифологии богиня-родовспомогательница, обычно появляется как спасительная, но иногда и как враждебная сила при родах. Без её помощи роды не могут произойти.

into a little bow and arrow for his games;
climbed a pear tree—twelve he must've been—
and reaching out for big bright fruit on the farthest bough,
fell and scraped his arm, tears hitting the ground.

Not much later, a burgeoning boy by then,
went off to help Laertes with a retaining wall
at his well-tilled farm.

«All that lifting, stone upon stone set in place
nine days straight, has made my arms and shoulders
strong,» he said on his return.
«My working hands...look how calloused they've become.
Mother, when father finally does come home,
I could easily be his helper every day...just you wait.»

Telemachus...darling son Telemachus
—the love I've poured into that boy, blood of my blood,
bone of my bones.
All the more unnerving his taking off to Sparta and to Pylos,
emboldened by his twenty years,
gone to ask his father's whereabouts.
I should've seen it coming days ago when,
sitting in his father's seat, he addressed a citizens assembly,
took a stand against the suitors set against me
like hounds after a fawn,
then ordered me away from his affairs.

Telemachus...Telemachus. He too is gone.
Twice-burdened and alone, I, Penelope,
sit waiting for two men—men I love madly.

NIGHTMARE

What once had been a soothing dream
has turned around—
no longer am I strolling at my ease by the water's edge,
sandals off,
the pleasure of sand to bare feet,
desiring everything to break my way.

Instead I'm on a ship,
sitting to the oar, and heading out to sea.
I row and row...can't steer straight.
Now the ship moves forward, now I'm veering east,

и кремниевых сколов маленький лук и стрелу,
а в двенадцать, помнится, лет вскарабкался на грушу,
потянулся за спелым глянцеви́тым плодом на дальней ветке
и упал, расцарапал руку и залился слезами.

А вскоре, став крепким подростком,
он помог однажды своему деду Лаэрту
сложить подпорную стену на его усадьбе.

«Девять дней я носил камни и крепил их один на другом, —
сказал он, вернувшись. — Погляди, как окрепли
мои руки и плечи,
сколько у меня мозолей на руках, —
и прибавил. — Когда отец, вернётся, наконец, домой,
я запросто смогу помогать ему, вот увидишь!»

Телемах... Любимый мой сын,
плоть от моей плоти,
сколько любви я потратила на тебя.
Как тревожилась, когда ты в свои двадцать лет
бесстрашно отправился в Спарту и в Пилос
разведать, где находится отец.
Разве забуду, как сидя на троне отца,
он обращается к собранию граждан, клеймя ухажёров,
которые меня преследуют, подобно легавым псам,
которые гонятся за ланью,
как он предостерегает меня от их притязаний.

Телемах... Телемах... Вот и он уплыл.
С двумя смятениями в сердце, в одиночестве, я, Пенелопа,
жду-пожду двух мужчин, любовь к которым сводит меня с ума...

28. ДУРНОЙ СОН

Того, что прежде тешило меня, как добрый сон,
теперь нет и в помине.
Прежде я бродила вдоль кромки моря,
без сандалий,
радуясь песку под босыми ногами, —
ничто не преграждало мне путь.

А теперь во сне я плыву на галере,
налегаю на вёсла, всматриваюсь в морскую даль.
Гребу не переставая, сама не знаю, в каком направлении.
То поворачиваю на запад, то на восток,

for Laertes, which I undid at night.
Weaving, unweaving and waiting I wove—
avoidance of the suitors was my mischief all those years.

One day I asked myself
if mine was a senseless heart;
if, for an instant, I'd lost the soundness of my mind.

Then, too, I wondered: had it been folly
to push this trick of the shroud too far?
What will people mutter
throughout time when they bring my name around?
After I'm gone,
what will ring in the ears of the unborn?
Here and now I say: I've done no ill.

No ill to crass and boorish men who know
nothing about weaving anyway, nor the time it takes to
run-the-shuttle-through-and-tie-the-final-knot on woven wool.

Three years...three years fully I rejoiced,
until my tattle-tale, malevolent maidservants turned me in—
those tarts.

ATHENA, SPINNER OF MANY SCHEMES

Must I wait for the gods' own time
to get Odysseus back,
man of commanding, calm demeanor?
If you know his whereabouts,
why not confide to me the place?
Give me, why not, as birds, the gift of flight
that I may search after him in forests, mountain ranges,
caves.

Come through, Athena, tell me in words plain:
can a man twenty years absent be yet alive,
and likely to return, pick up again
where he left off?

Pallas Athena,
grant my story gladness and bright glow—
race forth to me my husband
on a sailing-ship, I say,
make want and weariness forever
fade away.

для Лаэрта, а ночью распускать ткань.
Ткать и распускать сотканное, уклоняясь этим
от ухаживаний, — и так все эти годы.

Как-то я подумала:
а вдруг я бесчувственна
и на какой-то миг лишилась благоразумия?

И я спросила себя: разумно ли
так долго возиться с саваном?
О чём люди будут шептаться по прошествии времени,
когда меня не станет?
Что будут обо мне думать, вспоминая меня, те,
что пока ещё не родились?
Здесь и сейчас я говорю: я не чинила зла.

Не причинила зла грубым невежам, не понимающим,
что такое корпеть над тканью, сколько времени уходит
на-то-чтобы-перемещать-челнок-и-завязывать-узелки.

Три года... Целых три года ушло на это,
а всё же кто-то из моих служанок, меня предали.
Негодницы!

30. НЕИСЧИСЛИМЫЕ КОВАРСТВА АФИНЫ

Почему я должна ждать, когда богам заблагорассудится
вернуть мне Одиссея,
моего властного, рассудительного мужа?
Если ты знаешь, Афина, где он обретается,
почему не поведаешь мне?
Почему не дашь мне, как птицам, дар полёта,
чтобы я могла найти его, будь то в лесах, среди ущелий
и пещер.

Явись и ободри меня, Афина, скажи без утайки,
может ли человек, отсутствующий двадцать лет,
оставаться живым, может ли вернуться туда,
где у него было всё.

Афина Паллада,
омой радостью и ослепительным сиянием мою жизнь, —
верни мне не медля
моего мужа на корабле, молю тебя,
пусть моя тоска и изнеможение
навсегда исчезнут.

LOVE BOUND

The sun rose,
 blossomed into brightness, then took its time
 heading toward the center of the sky. There it stood,
 solitary, keeping its place,
 glaring down until
 the shadowed spaces were on the move again;
 by which time I was bored, hungry,
 so I had a bite to eat.
 While the maids on their knees
 kept grinding and sifting wheat and barley grain,
 heaping handfuls cupped together
 (six-hundred someone said)
 measured into baskets big,
 and grumbling they were, all the while,
 working masses of dough into flat loaves for the fire,
 I slept,
 and awoke at the moment when the sea was glazed
 with red-becoming-orange—it was Helios
 at the end of his run on the horizon's precipice,
 then was gone.

In my room and around the palace, darkness abounds,
 my mind sitting in shadow when two thoughts
 come to light: that out of love bound together
 by whatever binds together love over time,
 I can wait for Odysseus, the man I like to think is mine alone;
 that whatever lives in me, I call love—
 true-wife love kept deep in the bone,
 where only a wife can know it.

TWENTY YEARS WAITING

Just when I thought the star-lights of love
 no longer shone for me, that I'd stand apart,

a woman, living more on lament than on hope,
 down the stairs into the hall I went to see

the beggar-man, who the day before had walked
 straight into my gaze; who was no stranger begging,

but truly Odysseus, the man I love the way a woman
 does just the one time. From the moment we stepped

into our room, into a claiming embrace, teary-eyed,
 joyful in a reaching 'round of arms, I knew it

31. ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

Взошло солнце,
 разгораясь, оно одиноко воцарилось
 посреди неба и оцетинилось там,
 оберегая своё место,
 и сияло, пока снова
 не ожили сумерки.
 Я почувствовала усталость и голод
 и что-то съела.
 Служанки, не поднимаясь с колен,
 продолжали просеивать пшеницу и ячмень
 и молоть, ковшами ссыпая муку
 в большие кули
 (одна из них насчитала шестьсот ковшей),
 и всё причитали, меся тесто
 и задвигая плоские хлебы в печь.
 Я задремала,
 но очнулась, когда небо начало облачатся
 в багрово-оранжевую тогу, — это Гелиос
 обходя горизонт,
 начал погружаться в море.

Мою комнату и весь дворец затопила темнота,
 сознание угасало, но я ещё подумала,
 что, испытывая подобную любовь,
 я могу не дожидаться Одиссея,
 которого хотела бы считать всецело моим,
 и чем бы ни было то, что живёт во мне, это истинная любовь,
 любовь жены, хранимая в глубине души,
 любовь, которую может испытывать только жена.

32. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

Именно в то утро, когда я решила, что пламя любви
 больше не согревает меня, и настала пора отрешиться

от пустых причитаний, не тешить надеждами душу,
 я спустилась по лестнице в мегарон, где опять увидала

нищего в обносках, который появился во дворце накануне,
 он приблизился и посмотрел на меня в упор, — это был

мой Одиссей, вживе, которого я люблю так, как любит
 женщина единственного мужчину. Едва мы вошли

в нашу спальню и обнялись, наши глаза увлажнились.
 Так славно было ощущать его объятие мне, его жене,

in my heart as a wife would know she's finally
home with her husband, the agony of love no more.

Lovers long estranged, we drank and drank, stopped
...and yet again drank from our kisses. I thanked

thrice the gods, thanked the sea. Then came desire
washing over me, and I melted at the knees, tunics

falling from us at the foot of our olive-tree bed—
body awakened as when, by the fluttering of wings,

a caged bird still recalls flight. I'd been for years at
the heart's low-ebb, but wise about men set before me,

and gods disguised. Now the man long-awaited
had washed ashore into my room: I opened my eyes

and saw, past the ceiling, an expanse of sky
and Odysseus sailing steadily above me. In the life

of two bodies, one sets in motion the other, both
moving to the meaning of husband and wife

after twenty years waiting. And what we uttered took
love that much higher; made it ascend to heights

of delight where no sound could be heard, save
the sound of two lovers in a room full of love

where husband and wife finally arrived, moored to
each other, at the dreamed-of, the imagined, the absolute

moment of rapture, beyond words, sweet to our mortal
taste. O astonished and exalted heart when, before it,

is revealed that hoping against hope has yielded
its reward. To him, last night, all of me I gave. Athena

had reined in the horses of dawn, and drawn out the night.
Daybreak—and the first touches of color still found us

wrapped in each other's arms, Odysseus and I, wordless,
in the wisdom that love, as ever, is the light we live by.

всё моё существо возликовало: наконец-то рядом со мной
мой супруг, наконец-то осталась в прошлом агония любви.

Надолго разлучённые любовники, мы пили и пили вино,
и ненасытно лакомились поцелуями. Я трижды

возблагодарила милость богов и моря. И тут же меня
затопило желание, у меня ослабли колени, на пол упали

наши туники возле ложа, сбитого из оливкового дерева,
и ожило моё тело, так птица в клетке, взмахнув крыльями,

понимает, что всё ещё умеет летать. Долгие годы я унимала
сердце, старательно избегая мужчин, снующих вокруг,

и богов, рядящихся под ухажёров. И вот теперь море вынесло
долгожданного мужа на берег моего тела, я открыла глаза

и увидала над собой кусок синего неба и моего Одиссея,
который уверенно плыл на мне. В этом живом плаванье

двух тел одно сообщало движение другому, и оба тела,
сознавая себя частями единого супружества, возрождались

после двадцати лет ожидания. То, что мы шептали друг другу,
распалая любовь, вздымая нас на небывалую высоту

наслаждения, когда исчезают все звуки за исключением голоса
двух влюблённых сердец в спальне, окутанной любовью,

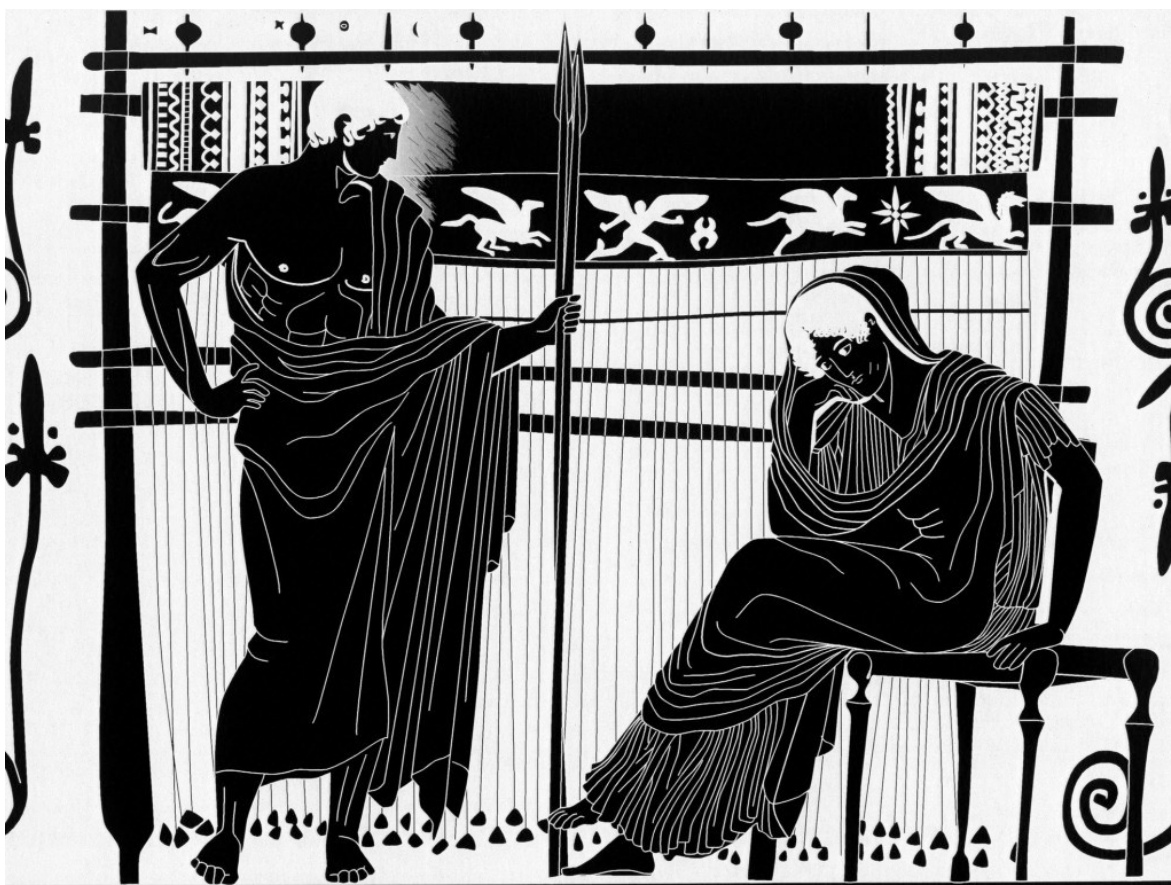
где, наконец, муж и жена, свиделись, сплелись телами
в дивный миг, после долгого ожидания, надежд, в едином

порыве, утрачивая мысли и слова, в сладостном насыщении
смертным блаженством. О, сердце, очарованное и пылкое,

которое постигает, что ожидание, вопреки всем тревогам,
приносит свои плоды! Я подарила ему этой ночью всю себя.

Афина, сдержав скакунов утренней зари, продлила нашу ночь.
А с наступлением рассвета, его первые блики нашли нас,

Одиссея и меня, обнимающихся, безмолвных, сознающих,
что любовь — единственный свет, озаряющий нашу жизнь.



Юрий Михайлик / Yuri Mikhailik

Перевод Евгении Саркисянц /
Translated by Evgeniya Sarkisiantz

1.

Why, doing wonders isn't hard — the magic can transpire,
I'll heal your troubles with a smile, dispel your worries too.
You see — it's getting warm again, you see — the sun rose higher,
All this, not mentioning the fact that I'm in love with you.

Here are the tugboats running fast and into one another,
Their noses poking at the ship amid the harbor blue,
And there is so much sky above, and so much sea lies farther,
All this, not mentioning the fact that I'm in love with you.

Say, just these poplars growing tall with leaves in springtime glory
Would be enough for you and me to safely pull it through.

The meadow and the sky alone are worth ten lives of worry.
All this, not mentioning the fact that I'm in love with you.

So long as clouds above us drift like islands in migration,
So long as they are painted dark by bright red sunrise glow,
For finding happiness on earth there's still justification.
All this, not mentioning the fact — not mentioning, no-no...

А сотворение чудес — совсем простое дело.
Беду руками разведу, улыбкой исцелю.
Вот видишь — солнышко взошло, вот видишь — потеплело,
Не говоря уже о том, что я тебя люблю.

Вот на лету в морском порту сшибаются буксиры,
Носами тычутся в борта большому кораблю.
И столько неба в вышине, и столько моря в мире,
Не говоря уже о том, что я тебя люблю.

Да только этих тополей с весеннею листвою
Уже б хватило б нам с тобой, чтоб выжить, не скорбя.
Одной травы и синевы — на десять лет с лихвою!
Не говоря уже о том, что я люблю тебя.

Пока над нами облака проходят островами,
Пока их красит в красный цвет багровая заря,
Ещё для счастья на земле немало оснований,
Не говоря уже о том... нет-нет, не говоря.

2.

From downtown to suburbs covered in mortar,
At full speed gained on the teeny segment of rail,
The streetcar rocks those asleep for longer or shorter
On two fine lines between cemetery and city jail.

And, rocking along, outside of the eye's direction,
The prison fence and the old cemetery yard
Flow in as the windows absorb the reflection
Of convoy moon that's always staying on guard.

And, rocking along, you are free to make your election –
The left is finite, the right is made to endure,

And whatever remains of love and tender affection,
That must count as an escape, I'm sure

And, rocking along, the only road, whether be it
Straight or twisty, will lead to what you just saw,
To those fine lines from prison to holy spirit,
The final verdict of the ultimate court of law.

Over the cemetery, lilac blossoms are in full glow,
Barbed wire is broken over the old prison wall.
Forgive us, Father; spare us no mercy though.
We have it right. We need our due after all.

От центра города до пригородов бетонных,
набравший скорость на коротенькой прямой
трамвай раскачивает сонных и полусонных
на тонких нитках между кладбищем и тюрьмой.

И в такт покачиваясь, всплывают помимо взгляда
в двойное зеркало вагонного окна
стена тюремная, кладбищенская ограда,
и беспокойная конвойная луна.

И в такт покачиваясь, ты вправе принять любое –
налево временно, направо — уже навек,
а что досталось нам от нежности и любви,
так это, видимо, считается за побег.

И в такт покачиваясь, единственная дорога,
как ни извилиста, а все приведет сюда,
к двум тонким ниточкам от острога до бога,
до окончательного приговора суда.

Сирень бушует над кладбищенскою оградой,
в колючей проволоке стены тюремной излом.
Прости нас, господи, а миловать нас не надо.
Все с нами правильно. Все будет нам поделом.

3.

For all I know, for all I strive,
My path, my every day are merely
A single case of being live.

But do not go yet, please stay near me.
 I am aware, your evening glow,
 Your quiet eyes, soft conversation -
 Are not assurances, o no,
 But somewhat of a consolation.

В конце концов, вся жизнь моя,
 судьба моя не что иное,
 как частный случай бытия.
 Но ты еще побудь со мною.
 Я знаю, твой вечерний свет,
 твой тихий взгляд, твой голос слабый -
 не обещание, о нет,
 но утешение хотя бы.

4.

Short baby days show up and wane
 Like night lights of an airplane, -
 On, off again.
 As if those lights were sending down
 A message to the sleeping town:
 Life isn't vain,

It's beautiful up there in flight -
 It's beautiful, come dark or light,
 As springs renew.
 It's beautiful when times are rough
 And all our strength is not enough
 To know it's true.

Say it's a truism, plain to see, -
 That message happens not to be
 So commonplace
 When that night airplane blinks up there
 And sends it, tilting in the air,
 Down to the base.

The night light glitters from above,
 A distant phantom, wounded love,
 A random whiff,
 And life that lures you with delight

Is yet more radiant than light,
Is yet more brief.

Летят коротенькие дни,
как самолетные огни, —
зажглось — погасло.
Как будто некто в корабле
передает ночной земле,
что жизнь прекрасна.

Она прекрасна на лету —
и в темноте, и на свету,
зимой и летом.
Она прекрасна в час невзгод,
когда и сил недостает,
чтоб верить в это.

Пусть эта истина смешна,
но, может статься, что она
не так банальна,
когда полночный самолет
ее, кренясь, передает
огнем сигнальным.

Летит, мерцает над тобой,
как наваждение, как боль,
огонь из ночи.
И жизнь, мерцая и маня,
еще прекраснее огня,
еще короче.

5.

Poetry is void like outer space.
Write all you want, it's so vast —
There always exists that lonely place
Where no one ever trespassed,
No word ever entered, no bang or sigh,
No boot crunched over the snow,
Not even the greatest came flying high,
Not to mention those flying low.

This boundless weald, this fertile field
 By no plough was ever harmed.
 Plant the neighbor's plot if you will
 Or harvest your own farm,
 And when you have cooked your five hundred rhymes,
 All placed on the web like one,
 The podium is all yours this time,
 For you are alone in the run.

Fear not, wear not, poor poet friend,
 Between self-doubt and hate:
 Forget a foe, no orbit can lend
 Even a soulmate,
 And what a star says to a star
 In the distance no mind can traverse –
 A meteorite will tell us, all charred,
 If it ever makes it to earth.

Поэзия словно космос пуста,
 и сколько стихов ни пиши,
 в ней всегда существуют такие места,
 где не было ни души,
 где не звенел ни глагол, ни металл,
 не скрипели ничьи прохоря,
 где даже Пушкин не пролетал,
 о прочих не говоря.

Этих широт, этих щедрот
 никто не калечил межой.
 Хочешь — возделывай свой огород,
 хочешь — паши чужой.
 И когда ты пятьсот стишков насвистал
 и выложил в интернет,
 ты можешь хоть лечь на свой пьедестал –
 никаких соперников нет.

Не бойся, не бейся, бедный поэт,
 меж комплексов и обид, —
 не то что врагов — собеседников нет
 ни на одной из орбит.
 А о чем звезда со звездой говорит
 в непостижимой дали –

расскажет обугленный метеорит.
Если долетит до земли.

6.

One more delightful year has flown,
The time of singing and of sorrow,
And everything it failed to borrow
Some future years will surely own.
Some other years, some other pods
Will bear a wonder of such glory
That I had better rest my story,
I stop here, lest I tempt the gods.

Еще один прекрасный год,
в котором пелось и грустилось,
а то, что в нем не поместилось,
в другом году произойдет.
В другом году, в другом саду
произрастет такое чудо,
что и рассказывать не буду,
чтоб не испытывать судьбу.

7.

My love is vain; there is no use, no point.
Not loving you feels just the same I guess.
Well, maybe just a little more disjoint,
Well, maybe just a bit more emptiness,
Well, maybe sudden cold comes, unawares,
Into my wretched dwelling, burns it through,
Or, maybe... But I mean, who really cares:
What do I know about not loving you...

В любви к тебе ни толку нет, ни проку,
и без нее мне так же, как и с ней.
Ну, может быть, немного одиноко,
и, может быть, немного холодней,
и, может быть, внезапной немотою

обожжено постылое жильё,
и, может быть... Но это все — пустое,
почем мне знать, как это — без нее.

8.

Life is talented for its short-lived course,
Life's a nuisance for it creeps at you from each crack,
Life is deaf and blind for there's no gold verse
That could ever save us or change things back.

Buzz and guess now — who are you, where are you?
Why, you're Schrodinger's cat, dead and also alive.
No true answers exist, so each answer is true,
As is any verdict, which is also a lie.

See that feverish blue, and just sit and stare
As cold truth turns green rolling near the shore.
And the fact that you're sort of no longer there
Cannot serve as evidence that you were

Washed off by the wave or buried deep in sand,
On the other side of the planet,
On the other, totally other land...

Жизнь талантлива, поскольку она коротка.
Жизнь назойлива, поскольку прет изо всех дыр.
Жизнь слепа и глуха, ибо самая золотая строка
ничего не изменит в мире, и не сможет спасти мир.

Остается гадеть и гадать — кто ты и где ты.
А ты просто кот господина Шредингера — мертв и одновременно
жив.
Достоверных ответов нет. Достоверны любые ответы.
Правдив любой приговор, который также и лжив.

Так что сиди-гляди на иссиня мятущийся бред,
который поближе к берегу похож на равнодушно зеленую быль.
И даже то обстоятельство, что тебя уже как бы нет,
не может служить доказательством, что ты был
то ли смыт волной, то ли занесен песчаной пургой
на другой стороне планеты, на другой стороне, на совсем другой...

9.

The water road is gliding through golden glare,
From nevermore into nowhere.
Everything carried and borne by the river flow
You can erase with a paddle, gentle and slow.

Everything moving behind you along the shore
Calls out, don't go away, stay a bit more.
But in the guts of the river, deep as our sins,
The darkened cloud is already growing fins.

The rough edged holes reveal a small patch of blue
That also used to be you.
The golden, the golden flow leaves behind no spoor,
Everything else will stay in the nevermore.

You cannot look back or ahead, there is nothing at all –
The black deadly cliff, the thundering waterfall.
And from the nowhere, the nobody hears a chime:
One at a time, my friend, only one at a time.

Эта дорога по золотой воде
Из никогда в нигде.
Все, что река вынесла и снесла,
Перечеркни легким гребком весла.

Все, что скользит вдоль берега, позади,
Не уплывай, кричит тебе, не уходи.
Но под водой, но в глубине реки
Темное облако отращивает плавники.

В рваных разрывах всплывает лоскут голубой,
Тоже бывший тобой.
На золотом, на золотом течении ни следа,
Все остальное останется в никогда.
Ни поглядеть вперед, ни взглянуть назад –
Черный обрыв, грохочущий водопад.
Это голос нигде подсказывает никому –
По одному, дружок, только по одному.

10.

Through broken ice pieces, in gradual motion,
 Apace with the white, knife-like edge of the bay,
 A tugboat named „Happy“ is passing with caution.
 Why let them, the happy, in here anyway?

As if, by the eye of a powerful warder
 That watches those freezing and going insane,
 We too were allowed to take place in the order
 Where winters and shorelines are something mundane,

The contours of hillsides are black-and-white spears,
 The sea is not moving, the sky shades the shore,
 And our habitation within these frontiers,
 While doubtful, is surely accounted for.

Before this hostility, silent and lonely,
 Beneath the precipitous sky that won't shine,
 What little we've left to be happy is only
 Your icy-cold hand touched with icy-cold mine.

По белой, по режущей кромке залива
 прошел осторожно меж битого льда
 безлюдный буксир под названьем „Счастливым“.
 Зачем их, счастливых, пускают сюда?

Как будто бы чьим-то властительным взглядом
 на этих продрогших, сошедших с ума,
 мы тоже допущены в некий порядок,
 где берег как берег, зима как зима,

где склоны расчерчены черным и белым,
 где море недвижно, а небо темно,
 и наше присутствие в этих пределах
 хотя и сомнительно, но учтено.

Пред этим морозным и грозным покоем,
 под темной небесной отвесной стеной
 всего-то и счастья — коснуться рукою
 своей ледяною твоей ледяной.

Юрий Николаевич Михайлик (1939). Родился в Амурской обл., но вырос в Одессе. Автор 12 книг стихов и пяти прозы. В 93-м году переехал в Сидней.

Евгения Саркисянц родилась в Москве, получила высшее техническое образование. Переехала жить в США в 1995 году, где получила степень MBA, а затем Ph. D. Жила в разных штатах, сейчас живет и работает в Чикаго преподавателем финансов в бизнес-колледже Иллинойского Университета в Чикаго. Увлекается поэзией с детства, начала переводить русских поэтов на английский язык с 2010 года, всего

имеет около 400 переводов, которые публикует на сайте <https://stihi.ru/avtor/eportnia>. Кроме этого, закончила в Москве музыкальную школу и увлекается пением и подбором на слух музыкальных произведений. Переводить стихи Юрия Михайлика начала недавно, но он довольно быстро стал одним из любимых поэтов. Его стихи очень разные, но каждый из них трогает душу. Передать его лиричность и музыкальность средствами другого языка очень трудно, и многое осталось „за бортом“, утратившись в переводе, но если это удалось хотя бы частично, то есть, чему радоваться.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ “СЛОВО\WORD”

Стоимость годовой подписки

(4 номера) – \$69.00 (включая пересылку).

Цена отдельного номера – \$15.00

Имеются в распоряжении номера журнала прошлых лет.

Чеки выписывать на имя :

CULTURAL CENTER FOR SOV.REFUGEES.

Адрес редакции:

CULTURAL CTR FOR SOV. REFUGEES
(SLOVO\WORD)

P.O. BOX 1768.

RADIO CITY STATION

NEW YORK,

NY 10101-1768 USA

Иван Волосюк

Я был железным навсегда,
куда ни ткни — вольфрам,
и камнем падала звезда
за убранный баштан.

А после быть могла зима
в календаре моём,
но злой свинец травил тела,
и всё казалось сном.
Внутри меня сочилась сталь,
и креп костей чугун,
и если бы пришёл февраль,
я б принялся за ум

и сам себя разворошил,
но правды в пальцах нет.
И страшно знать, как я прожил
двенадцать этих лет.

Ровно в шесть меня с крылами
двое в белом увели,
но полёт не прерывали —
восемь тысяч до земли.

У пилота запасного
пять посадок в рукаве,
мы идём на полседьмого
в абсолютной полумгле.

Винт замёрз, шасси разбито,
спит приборная панель,
океан внизу раскрытый,
как больничная постель.

Бортмеханик наш Егоров
за ночь сделался седой,
Мы по пачке „Беломора“
возвращаемся домой.

Я приехал в Липки ночью,
заселяться было поздно,
поздно ужинать, а завтрак
был, как горизонт событий,
бесконечно удалённый.

Я валялся в коридоре
не живой, не мёртвый, в среднем
полдуши осталось в теле,
а вторая половина
видит Бродского и Цоя.
Я шептал одной губою
и одной ногою двигал,
и единственную руку
Саша Себелев пожал мне,
а вторая так повисла.

А потом во мне живого
ничего не оставалось —
только контур человека,
кто меня такого будет
в толстом „Знамени“ печатать?

Я вот поплыл, что виделся Ему,
как след в пыли, как силуэт ожога.
Я верил в что угодно, в ерунду
от мракоборца до единорога.

И той зимой, когда не стало сил,
вдруг ощутил привязанность и привязь,
и Он тогда меня освободил,
и из густых потёмок на свет вывез.

И, привыкая к рези и словам,
ещё не помещаясь в обстановке,
я тосковал по нежилым местам,
где высыхал, как рыба на верёвке.

Где и руки никто мне не подаст,
где мира нет и нет ещё народа,
где заживо с земли сдирают пласт
и остаётся голая порода.

Пока не послали на фронт
с корявой винтовкой в комплекте,
он думал про „Пушкинский фонд“,
как школьник мечтает о лете.

Он верил, что смотрит кино,
но всё прояснилось до колик,
и знал только имя одно,
как может любить алкоголик.
А после, когда обмелел
до мата и шуток в фэйсбуке,
он сам этот саван надел
и сам себя вывел под руки

из комнаты в десять шагов,
с окном, выходящим на площадь.
Его уберут из френдов,
но разве от этого прощще?

Я лежу в огромном зале
в меднокаменном гробу,
десять раз меня роняли,
но тащили на горбу.

Я красивый, будто вымпел,
но полезный не вполне,
кто-то жрал и губы вытер,
а потом пошёл ко мне.

А другой стоял с бокалом
в отдалении угла.
Тихо женщина рыдала,
громко музыка плыла,

но заметить все успели,
как я тщательно побрит,
как на бездыханном теле
хорошо костюм сидит.

Огонь в стакане, ночь в углу,
Луна в заваленном пейзаже.
А мы подсели на юлу,
И, не пытаясь спрыгнуть даже,
без вдохновенья, без мечты
вращаемся до тошноты.

Куда как страшно нам с тобой
в простом ряду холмов окрестных
при памяти наметить свой.
Не зная точно, что воскресну,
под „Сектор газа“ — „30 лет“
умру в Крыму, раз моря нет.

И лето кончится вполне,
собьётся август в чёт и нечет.
Как будто в память о волне
(другим мне поделиться нечем),
красивый, будто наркоман,
отсыплю звёзд тебе в карман.

В космической водке ни грамма души,
и бластер в кредит не дают,
а там, на Земле, все друзья-алкаши
озорно стозевно поют.

Набрали поленьев берёзовых зря —
в реакторе только трещат,
и скорости света достигнуть нельзя —
слетать да пощупать девчат.

То кольца планет завалились на бок,
то звёзды втянулись в дугу.
И вот человек он везде одинок,
но больше я так не могу.

Не знать, как колотится сердце в груди,
не ждать, не любить никого.
И если, как Лазарю, скажут: иди,
я в бездну шагну без всего.

В конце фамилии друзей
всегда стояло „о“.
В конце фамилии врагов
всегда звучало „о“ —
и можно было жить легко и умереть легко.

Я понял, что страна моя
сидит внутри голов,
и бросил прежние края,
взлетев поверх голов.
Кто новый враг теперь, кто друг,
в конце звучащий „ов“?

Родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтёра. Выпускник русского отделения филологического факультета Донецкого национального университета. Публиковался в журналах „Знамя“, „Дружба народов“, „Нева“, „Волга“, „Новая Юность“, „Юность“, „Новый берег“, „Интерпоэзия“, „Новый журнал“, „Слово/Word“.

*Стихотворения переведены на итальянский, испанский, болгарский, сербский и румынский языки.
Живёт в Подмосковье.*

Галина Ицкович

БОУЛИНГ ГРИН

*When you're alone and life is making you lonely
You can always go — downtown...
Maybe you know some little places to go to
where they never close — downtown
Petula Clark, Downtown*

Хронология

Парково парку — наполнено логово
Жаром, слепнями и сплетнями.
По голове короля Георга
Лупят тупыми кеглями.

Эти традишн — родишь их
И мучайся-
Бедные детки-традиции!
Строишь Уолл-Стрит,
А потом, смотри ж ты,
Думаешь об экстрадиции
Этих... присвоивших наш Даунтаун
Авторов руководящего дао,
Чинным галстуком сжат кадык.
Съест ли свинья их,
Боднет ли бык
Под дых —
Кирдык вам, родные,
Кирдык.
В прошлом году отлетели во Флориды
Птички седые небесные.
Мы не расстроились:
Значит, не бестолку!
Добомжевались, любезные,
В одиннадцатом (или в девятом?)
С плакатами да в палатках.
А вот в двадцатом — те же в палатах.
Аве, наш бог-респиратор!

Недобор кислорода. По пути в Даунтаун
Загрузи Spotify и ныряй в метро.
Песня-не ретро, в чести ещё.
Недовоздух предгорода.
Задыхаюсь в чистилище.

Скотный двор (это мы- скоты?!),
Funny farm.
А не успеете до темноты,
Любите сей парк from afar.

Орда наступает,
Орда права.
Вытягивайте черепа.
Кеглями бьёт по ним
Боулинг-Грин.

**Питьевой фонтанчик
через дорогу
от Баттери-Парка**

„Стать вам козлятами,“ — обрушивает на нас
Горе-Кассандра, Алёнушка в белой маске.
День обернется демоном, воды — войной
германской,
Воздух вонзится в небо, пускаясь в пляс.

Кто там ответил? слышно меня? алё?
Но, говорят, лимит минут безнадежно выбран.
Бедный мой телефон плавает вдоль безрыбья.
Риса ему дадим, молока нальём.

Нетерпеливых братцев предать легко.
К нам нелюбезен век, год всё грозитя кознями.
Ночь обернется налётчицей. Станем козами.
Радиоактивным облаком
Светится молоко.

**А вот ещё стремящиеся
на Остров**

Алё
сестрица Алёнушка (не было сроду сестриц)
сестрица Алёнушка
ландыши да блины
стол
скатерть
scattered
stutter
я путаю языки
путаю мысли
скатываю комки
бумаги
магию слов
остов
тридевятих смыслов
остров последних снов
воющих:
„Тридешатое“

„Тридиннадцатое“
царство просроченных
тикетов
неоплаченных
неоплаченных
иллюзий
неотнятых
диконьких

Мы на острове
каждый увы на своём
мосты не в моде
блики и вскрики меди
сверху гремит река
нас немного
вдоль поручней
все мы немного крики
сделаны с мунковских
мрачных лекал
Но переехали
в реку не сунув руку
Харон в своей будочке невозмутим
объявляет сестрица
пенопластовым голосом:
„Следующая -
Боулинг Грин“
не воспарили и не свалились в бездну
в этот раз спасены
нас безумно мало
в этом поезде
времени пик
pick
reak
пик на вершине скалы

Не напасешься Шагалов
не взлетишь в нужный час
дайте рвотное городу
переваривающему нас

Галина Ицкович живет в Нью-Йорке. Переводы, стихи, публицистика и короткая проза неоднократно публиковались в журналах и периодике русского безрубежья и в англоязычных изданиях. Из

публикаций последнего года — „Литературная газета“, „Южное сияние“, „Эмигрантская лира“, „Формаслов“ (серия путевых очерков), „Textura“, „Артикль“, „Среда“, „The Write Launch“, „Harpy Hybrid Review“ и др. Автор книги стихов „Примерка счастья“, со-автор книги переводов.

Евгений Степанов

НА БЕЛОМ СВЕТЕ

Тут-и-Там

Услышать будущего зов.
Борис Пастернак

Спешишь, спешишь... Бежишь, как мышь
От страшного котичи злого.
Какая разница — Париж,
Нью-Йорк, Бат-Ям или Быково,
Когда сто лет в айфон глядишь,
Не слыша вземного зова?

Все — т а м, а тут — аэродром,
Дурдом, погром и море водки,
И годы странствий за бугром,
И цели не ясны, не четки,
И будь готов, скрипя пером,
К п о с л е д н е й эмигрантской ходке.

А т а м — три тысячи имен
Родных и дорогих особо:
Эмиль, Татьяна, Слава Лён,
И Тимофеевские (оба),
И та, в которую влюблен
Я буду, как пацан, до гроба

(И после), это факт, а т а м
Иная у людей программа,
Не дремлет вземной ашрам,
И алкоголя нет ни грамма,
И ходит по цветным местам
Моя задумчивая мама.

2022

Братья

И что-то говорит Кулеба,
И что-то говорит Лавров.

А небо... Вновь грохочет небо.
Закат багров.

А совесть мучит... Неприкаян,
Убийца ходит среди могил.

И сам не понимает Каин —
За что он брата порешил.

2022

Начало

Июнь и юность, и урок
Дер-ев, читающих книгуру.

И Леночка бежит Гуро к
Родному Велимиру, гуру.

Летит за счастьем стрекоза,
Путевку в новый век желая.

А в травах прячется гюрза,
Гадюка злая.

1986, 2022

Брат

И даже на передовой
Порой бывает передышка.
Жизнь — это сон, во сне живой
Ко мне приходит мой братишка.

Приходит, курит „Беломор“,
Пьет чай неспешными глотками.
И мы заводим разговор
О Пушкине и Мандельштаме.

Жизнь продолжается во сне.
И смерть проходит стороною.

И брат, погибший на войне
 Цивилизаций, вновь со мною.

2016, 2022

Сказка

Идут-бредут по лесу человеки.
 Встревожен лес, не слышен птичий гам.
 Текут большие огненные реки
 По сладеньким кисельным берегам.

Кощей Бессмертный, бывший храбрый подпол,
 Собрал вещички и поехал в Крым.
 И как-то там устроился он, вот, мол,
 Мой выбор сделан и неотменим.

А Соловей-разбойник стал потише,
 Слегка переусердствовав, обмяк.
 Иван-дурак подался в нувориши.
 И оказался не такой дурак.

Емеля стал народным депутатом,
 Супружницу спровадил за порог.
 А царь Горох частенько был поддатым
 И все дела по службе запорол.

Идут-бредут по лесу человеки.
 Ни компаса, ни карты нет у них.
 А лешие на пьяной дискотеке
 Танцуют в щедрых зарослях лесных.

2019, 2022

Иные берега

Стягивать время и раны...

Сергей Бирюков

По разным временам шагая,
 Заснувших родичей шугая,
 Соединяю времена.

И весть ко мне летит благая
 О том, что смерть не так сильна.

А жизнь одна? Нет, не одна.
 Иные вижу берега я.

2022

Встречи

В тоске безбрежной...

Александр Блок

По квартире ходит призрак,
 Не боится ничего.
 Кто-то скажет: это признак
 Помраченья моего.

Этот призрак самый-самый —
 Я отвечу в свой черед.
 Будет гибельною драмой,
 Если призрак не придет.

Этот призрак самый нежный,
 Зарубежный, но родной.
 И в моей *тоске безбрежной*
 Он почти всегда со мной.

Мне приятны встречи эти,
 Эти наши рандеву.
 Я теперь на белом свете
 С лучшим призраком живу.

2022

Потому что

все равно продолжается жизнь
 все равно я смотрю ввысь
 потому что Бог это любовь
 а любовь это ты

как тевтонец гремит броней
 этот мир — на меня ползет
 все равно продолжается жизнь
 все равно я смотрю ввысь

все равно ты со мной во мне
 даже если сейчас далеко
 потому что Бог это любовь
 а любовь это ты

а в Быково идет снег
а весною пойдет дождь
и никто не ушел на век
потому что нельзя уйти

и глаза вновь глядят в глаза
и слезу я смахну рукой
потому что Бог это любовь
а любовь это ты

2016, 2022

Большой город

Бежим, бежим, бежим, бежим.
Падаем. Поднимаемся.

И опять бежим, бежим, бежим, бежим.
Падаем. Поднимаемся.
А потом бежим, бежим, бежим, бежим,
Падаем. И не поднимаемся.

И какие-то другие люди бегут, бегут, бегут.
Падают. Поднимаются.

2018, 2022

Методика Константина Кедрова

Небо — это ширина взгляда.

Константин Кедров

высший уровень речи
молчание

высший уровень молчания
речь

высший уровень скорости
остановка

высший уровень остановки
скорость

высший уровень нежности
поцелуй

высший уровень поцелуя
нежность

высший уровень жизни
смерть

высший уровень смерти
жизнь

2017, 2022

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала „Дети Ра“ и портала „Читальный зал“. Лауреат премии имени А. Дельвига „Литературной газеты“ и премии журнала „Нева“. Живет в поселке Быково (Московская область).

Ильман Юсупов

Я ЖИТЬ НЕ СМОГ БЫ ПО-ДРУГОМУ...

* * *

В родном селе, у отчего двора
Давным-давно не тряс я шелковицу,
Не отправлялся на косьбу с утра,
Не видел птиц чеченских вереницу,
Не слышал лай знакомых мне собак,
Не ел в саду соседа абрикосы,
И без меня над высотой Маштак¹
Шумят метели и сверкают грёзы.
Отцовский край — кусок моей души,
Отрезанный незримою рукою,
В любой его затерянной глуши

¹ Маштак — высота Веденского района Чечни.

Я вновь мечтаю зазвенеть строкою.
 Но не ропщу я вовсе на судьбу,
 С рожденья мне дарованную Богом.
 Своих фантазий буйных ворожбу
 Отныне я держу в режиме строгом.
 И не хочу, страдая и скорбя,
 В уме листая книгу лихолетья,
 Просить у мига льготу для себя
 И требовать от вечности бессмертья...

* * *

Я, не противясь божьему велению,
 Изгнанья путь так долго продолжал,
 Что, может быть, предать меня забвенью
 Успели пики каменистых скал.
 Хоть для меня моё былое свято,
 Я замечаю с горестной тоской,
 Что зов, ко мне стремившийся когда-то,
 Теперь на зов не отвечает мой.
 Роятся надо мной чужие пчёлы,
 Мне чужд и незнакомый вид ракушек,
 Дырявят сердце памяти уколы,
 И сожалений дым глаза коптит.
 Мне мнится, что, черствея незаметно,
 Стал странным я для чуткости людской,
 Хоть и служу стихам я беззаветно,
 И не хитрю со словом и строкой.
 Хоть мельтешат сомненья ледяные
 В моих мечтах и чувствах всё сильней,
 Хотел бы я дела свои земные
 Узреть на гребне расторопных дней,
 И, вывернув раздумья наизнанку,
 Отправить весь запас душевных сил
 Туда, где смерть мне следила приманку —
 Два холмика родительских могил...

* * *

Сижусь на скамье в саду цветущем,
 Где запахом поит меня сирень.
 Но смею ли мечтать я о грядущем,
 Продлить желая этот летний день,
 Стремясь не отпустить своё былое

Из дум своих печальных ни на миг,
 Которому, идя сквозь время злое,
 В стихах своих я памятник воздвиг:
 И, быт суровый сердцем согревая,
 Всегда я в снах своих бываю там,
 Где отчий дом и башня родовая
 Мой образ дружно делят пополам?..

* * *

Ночным покоем наслаждаясь, вёрсты
 Себя неспешно погружают в сон.
 На жестяные пуговицы-звёзды
 Застёгнут до рассвета небосклон.

На бархате травы, где плачут росы,
 Кузнечики зелёный звон куют.
 В дубраве бродит ветер безголосый,
 Не в силах отыскать себе приют.
 Мне мнится, что я чувствую вращенье
 Своей души вокруг оси земной,
 Что каждое короткое мгновенье
 С рыданиями прощается со мной.

И ясно сознавая, что в былое
 Перетекает жизнь моя тайком,
 Иду в атаку я на время злое,
 Стихом его дырявя, как штыком.

И в этой битве — грозной и жестокой —
 Я буду свято чтить, покуда жив,
 Высокий образ Родины далёкой
 И памяти возвышенный архив...

* * *

Шведские деревья заскучали,
 Сбросив золото с осенних крон.
 И, укрывшись мглой цвета стали,
 В тучах слёзы копил небосклон.
 Напрягая мысленное зренье,
 Я копаюсь в памяти своей,
 И тогда ко мне идёт виденье
 Из давным-давно прошедших дней:

Вижу дом отца под тополями,
Мать свою, укутанную в шаль,
Хутор, над которым журавлями
Для меня оставлена печаль...

* * *

В далёких просторах, в селенье родном
Стоит, наклонившись, мой раненый дом.
В крови возрождая былое родство,
Лишь память способна увидеть его.
В нём жили когда-то, как в чудном дворце,
Виденья о матери и об отце.
Мой дух неприкаянный, тихо молясь,
Выходит с родными местами на связь.
Когда-то мной пройденных троп колеи
Друг другу читают сонеты мои.
И бьющий из горного склона родник
Вечерней порой вспоминает мой лик.
Теперь моей жизни последнюю часть
Судьба заставляет к чужбине припасть.
Мерцают надежды, как будто огни,
Тревожно считая бегущие дни...

* * *

Тихий город на шведской земле
Замер в сонной медлительной лени.
Уплотняются чёрные тени,
Становясь под луною смелей.

Площадь неба, без всяких затей,
Завоёвана звёздною ратью.
Над речною качаются гладью
Колыбели ночных фонарей.

Наклонились над сердцем моим
Души в сон упакованных улиц.
В парке листья друг друга коснулись:
Ветер трепетно ластится к ним.

В сероватой предутренней мгле
Встретит птиц мелодичное пенье
Дум тяжёлых моих утешенье —
Тихий город на шведской земле...

* * *

Грустит округа, как гнездо пустое.
Стих в старой роще листопада шум.
Зиме навстречу, задыхаясь в вое,
Безумный ветер мчится наобум.

Скукожились от сырости равнины,
Скучая без цветов и певчих птах.
Холмов далёких сумрачные спины
Мечтают о серебряных снегах.

И, чтя небес высокие уставы,
Шушуют дожди то здесь, то там.
О льдах, что усмирит её суставы,
Река вещает рябью берегам...

* * *

Неслись на землю метеоры,
Лениво жаля плотный мрак.
Дразня окрестные просторы,
Метался где-то лай собак.
Чеченский хутор под горою
В вечерних сумерках притих.
И память мыслей мошкарюю
Пьёт снова кровь из жил моих...
Вот я, за небом наблюдая,
Стою у ветхого плетня,
И смотрит нана¹ молодая
С улыбкой кроткой на меня.
Хоть мчится быстро время злое,
Храню я в сердце до сих пор:
Лицо до боли дорогое,
Заветный каменистый двор,
Хлеб кукурузный — жёлто-серый,
Струющийся из товхи² жар,
И символ сытости и веры —
Стоящий в комнате кахьар³.
Обласкан мною добрым словом,
Как светлой грусти торжество,
Кизячный дым над отчим домом —
Свидетель детства моего...

1 Нана — мать по-чеченски.

2 Товха — горская печь, вид камина.

3 Кахьар — старинная чеченская ручная мельница.

* * *

Сипло дышит зимний ветер, тучи береба,
На такой большой планете, нана, нет тебя.

В чужеземных далях стонет мой сыновний зов,
На дорогах жизни больше нет твоих следов.

Грустно я смотрю на небо, зная, что ты там.
И опять шепчу молитвы с болью пополам.

Ильман Юсупов. Чеченский поэт, писатель и журналист. Родился в Казахстане. Выпускник Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Долгое время жил и работал в Чечне и Азербайджане. В 2005 году эмигрировал в Швецию. Пишет на чеченском, русском и шведском языках. Автор поэтических книг „Пасека времени“, „Мечеть стойкости“, „Колодец памяти“, „Чеченский очаг“ на шведском языке, „Искра твоего очага“, „Песня и скитанье“ на русском языке, „Беседа с памятью“, „Отцовское слово“ на русском языке, „Напевы тишины“, „Свет отчей земли“ на грузинском языке. Участник международного фестиваля поэзии в шведском городе Хёрнессанде (2006). Член Союза писателей Швеции.

Наталья Кравченко

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ БЫЛА НЕ ОДИНОКА...

Под утро сон не отпускал, маня,
под веками мозаика крутилась...
Мой личный Бог всё знает про меня,
и я сегодня в этом убедилась.

Пока я вижу эти небеса
и лунный камень в облачной оправе,
пока я слышу птичьи голоса —
я сетовать на жизнь мою не вправе.

В свои стихи как в зеркало смотрюсь,
и будни мои праздничны и праздны.

Тоска смиренна и нарядна грусть,
и ничего не целесообразно.

Я в розовый бинокль вижу мир.
Достойного любви там очень много.
В душе горит не гаснущий камин.
Да, я одна, но я не одинока.

Единственна... как все мы на земле.
Отмечена... и с неба светит око,
чтобы душа всегда была в тепле,
чтобы земля была не одинока.

Жить и жить себе внутри тумана,
вместо денег звёздочки считать...
Вынет месяц ножик из кармана —
разрезать страницы и читать
в книге судеб, писанной вселенной,
чей глядит на нас печальный глаз,
чтобы в жизни, немощной и тленной,
стало легче нам от лунных ласк.

Плыть и плыть бездумно по теченью,
пока кто-то руку не подаст,
не напоит чаем нас с печеньем,
не обнимет в самый чёрный час.

Я не повторяю имя всеу,
писем не пишу тебе я, но
всю себя тебе я адресую —
прочитай хоть строчку перед сном.

Словно дети, друг от друга прячась,
прячемся от счастья — не беды...
Ведь любовь — единственная зрячьсть,
всё другое — формы слепоты.

И куда судьба опять заманит,
где рассвет неясен и белёс...
Мы плывём, как ёжики в тумане,
ничего не видя из-за слёз.

Читатель мой, советчик, врач,
в ответ хотя бы мне аукни.
Искала б днём с огнём, хоть плачь,
но от огня остались угли.

Уставший к вечеру денёк
прилёт, не вымолив отсрочки.
Вид на помойку как намёк,
где кончат жизнь живые строчки.

А где ж им быть потом ещё?
Забыты, выплунуты, жалки,
от жарких душ и мокрых щёк —
прямым путём к дворовой свалке.

Как ни крути и ни крои,
альбомы, письма, посвященья,
слова в невысохшей крови —
в одно стекают помещенье.
Дожди легко их смывают след.
Бросаю, как бутылку в море...
Вдруг кто-то через сотню лет
прочтёт мою любовь и горе.

Я сновиденья превращаю в явь,
идя на те места, что мне приснились.
И возвращаю, словно букву ять,
их тени, что здесь где-то схоронились.

Вернее, их пытаюсь отыскать
среди незнакомых старых переулков...
Какая неизбывная тоска
в шагах как эхо отдаётся гулких...

Ещё не доводилось никому
здесь проходить пожизненно влюблённой,
и видя недоступное уму,
вдруг повстречать свой сон овеществлённый.

О как деревья были зелены,
пока на них там не было управы...

Кинотеатры, стёртые с земли —
„Курятник“, „Летний“, „Искра“, боже правый!

А вот и я бегу вперёд машин
не по волнам, а по мосту, как ветер,
колени обвивает крепдешин,
красна улыбка, юный взор мой светел.

Здесь все дома и улицы мои,
и вечер нежно обнимает плечи,
и в жизни моей нет ещё любви,
а лишь предвосхищение той встречи.

Спешу по нашей будущей весне
среди лет, что как деревья облетели...
Я помню лишь, как было всё во сне...
Я позабыла, как на самом деле.

Вечерами у окна
я люблю сидеть одна.
Небу, кажется, видна там
вся душа моя до дна.

Как в подзорную трубу
вижу всю мою судьбу,
всё, что было, есть и будет,
что несусь я на горбу.

Вижу мамины глаза,
руки папины, и за
ними ясно проступают
прежней жизни голоса.

Вижу словно во хмелю
лица всех, кого люблю,
за кого в ночи беззвёздной
слёзно Господа молю.

Но пока ты не в гробу —
продолжай свою судьбу,
продираясь сквозь преграды,
невозвраты и табу...

По ночам луна в окне,
а душа моя в огне.
Пусть горят, вовек не гаснут
все любимые во мне.

Шуточка

Ах, Наденька, как ты с горы летела,
от страха ни жива и ни мертва...
Ты так тогда отчаянно хотела
услышать вновь те главные слова!

Впервые мне пропел их в уши ветер.
Сказал их Чехов. Прочитал отец.
И я ждала, когда же мне на свете
всерьёз их кто-то скажет наконец.

Ты мне шептал их много лет ночами,
но вот ушёл и те слова унёс.
Всё кажется пустыми мелочами
без этих слов, сияющих от слёз.
И до сих пор я вслушиваюсь в ветер,
что воет по ночам как свора псов:
„...люблю, люблю... ты лучшая на свете...
расслышь меня сквозь хоры голосов...“

А звёзды дрожали ресницами,
сухими колючими иглами...
Всё это могло бы присниться нам,
казалось небесными играми.

Меж видимым и невидимым
границы такие тонкие...
И чудо, что стало обыденным,
как будто ношу в котомке я.

Осилью ли эту зиму я,
душа — что голь перекатная.
Звезда моя негасимая,
любовь моя незакатная...

По компу музыка без звука —
полночный час, соседи спят...
Жизнь без тебя — такая мука,
родного с головы до пят.

Твой взгляд с портрета и с фейсбука —
мне как танталовый глоток,
как эта музыка без звука
или без запаха цветов.

Когда тебя во сне я вижу —
как без меня там одинок,
то потолок уходит выше,
земля уходит из-под ног.

И я лечу к тебе сюрпризом
над миром, что бездарно спит...
Мне никакой закон не писан —
ни притяженья, ни орбит.

Смотрят на меня глазами окон
призраки любимых и родных.
И луна косит печальным оком,
освещая нас с тобой одних.

Те места, что улетели с дымом,
в памяти нетронуты целы.
Там со мною нерушимо ты был,
там навек прочны мои тылы.

Птицей в ночь летит тоска о друге.
Где ты, моё счастье ни о чём?
Призрак манит, не даётся в руки,
ускользает солнечным лучом...

С той поры, когда была женою,
как-то всё похолодало тут.
Стены оглушают тишиною.
Страшен дом, в котором нас не ждут.

Но ещё свежо, свежо преданье,
как тот вальс кружил с тобой в ночи...
Давними аккордами страданья
нестерпимо музыка звучит.

И несёт она меня над бездной
к тем далёким памятным местам...
Где-то ждёт единый дом небесный,
и мы все как дома будем там.

Что, если б ты пришёл сейчас,
внезапно изменив маршруту...
О сколько радости подчас
вмещается в одну минуту!

Пусть я тебя бы не ждала,
пуст холодильник, суп вчерашний,
пусть я была бы в чём была,
всё это было бы не страшно,
когда над всем, что отошло,
исчезло в дальнем окоёме –
вдруг — словно солнышко взошло,
твое лицо в дверном проёме...

Как сразу заиграла б жизнь!
Я на плите бы ужин грела.
Луна, по-бабьи подпершись,
на нас с тобой в окно б смотрела.

Все утомлённые мечты,
и даже те, что и не снились,
и все спалённые мосты
вмиг ожили б, соединились.

Всё бы, да если б, да кабы...
О сослагательные жизни!
От несложившейся судьбы –
до поминания на тризне...

Но пусть не близкий и не друг,
и жизнь не утоляет жажды,
но есть живое слово „вдруг“,
„откуда ни возьмись“, „однажды“.

Что, если вынырнешь из них,
внезапно соскочив с трамвая...
И машинально на двоих
я ужин свой разогреваю.

Наталья Кравченко, родилась и живёт в Саратове. Филолог, член Союза журналистов, работала корреспондентом ГТРК, социологом, редактором частного издательства. Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критических статей. Публиковалась в журналах и литературных альманахах „Саратов литературный“, „Эдита“, „Русское литературное эхо“, „Сура“, „RELGA“, „Новый свет“, „Фабрика литературы“, „Порт-фолио“, „Артикль“, „Эрфольг“, „45-я параллель“, „Семь искусств“, „Нева“, „Золотое руно“, „Гостиния“, „Подлинник“, „День и ночь“, „Южное сияние“, „Зарубежные Задворки“, „Бумжур“, „Камертон“, „Топос“, „Новый день“, „Журнал-мастерская Берковица“, „Слово/Word“, „Твоя глава“, „Сова“. Лауреат многих Международных конкурсов.

Александр А Пушкин

Уже Декабря

Мы Учены — ключи ложить в карман,
Чтоб не упали в шахту лифта,
Мы Учены глядеть по сторонам —
На переходе — мало ль психов-то?
Мы Учены: следить не за рулем —
За теми — справа, слева или сзади.
Мы знаем — пепел — хорошо к рассаде,
А уголь с медом перед сном.
Я научился многому, опречь
Не прогорать по жизни всеу —
Не научился Счастья беречь.
И рисовать — не нарисую.

888888

Я боюсь, когда всё просто,
Подозрительно оно,
Хоть какая- нить загвоздка,
Хоть какое-нибудь „но“.

Хоть подножка, хоть подлянка,
Неудачный поворот,
Хоть какая-нить изнанка —
Остальное всё сойдет.

Но в другой — глобальной были
Оказалось: нет примет —
Мы с тобой непросто жили,
Только где он — Happy End?

10.03.21 — Орехово-Зуево. Записка

Наталь, заходи и к нам,
У нас веселей порою,
Привет передам котам,
Теперь — по углам — их трое.

Чего тебе здесь сидеть?
Увидела всех, наверно, —
Родная земля... Но ведь
Твой дом на 51-й.

Ждем в гости, хоть в ночь, хоть как,
Местечко найдем, ей Богу,
Чего тут лететь? — Пустяк,
Знакомая ведь дорога.

Давай, не тяни за хвост,
А Бесс сторожит у двери,
Вопросов понабралось —
Тебе лишь одной — поверю.

Теперь

Я Ада реально боюсь,
Как письма из городской конторы,
Слишком ясно — на чего нарвусь.
А за что? — не надо прокурора.

По нутру — себя я здесь прожёт,
Как на колья в „Даках“ — еженощно.
Но — на вилке, голым, в кипятке?
Может, есть у вас чего попроще?

Может быть, в отстрел, как Себастьян?
Как Тантал — на жажду без возврата?

Или Ноем — вечно в луже пьян
На зеленых склонах „Аратата“?

Да-да-да, на всё. Готов испить
В ближайших и дальнейших далях.
Дай, Господи! — Наталь, тебя не обвинить
В своих печалях.

Bnn

Я спрашиваю у Вас разрешения:
Сделать этак или сделать сяк...
А прощенья, как обещаю, —
Всё затаскано, как пиджак.

Как малыш, безискусной соской
Утоляет любой каприз,
Как Сизиф со своей поноской
Затаскался наверх и вниз.
Тискать слово, как грудь подростка,
Истребиться, поймешь пока:
Тасс — писатель, тис-дерево, а это просто:
Такса, Тоска, Тиски, Тоска.

99999999

13 пиджаков и одна шуба
Висели здесь восласть
На Пятьдесят Второй,
Пока в один мешок
Их не сложили грубо,
Чтобы куда унести холодною порой.

Финляндия, Италия,
Нью-Йорк, Париж, Корея:
— Куда несешь нас, клятый супостат?
— В Спасенья Армию, ребята, там теплее,
Чем было здесь второй уж год подряд...

Жить под взглядом.
Слишком рядом
фотографий на стене.
Как зверьку из зоосада,
ты один, один — нигде.

И позорища, и пакли
наблюдайте — Дай Вам Свет —
Хоть ты в штольне, хоть ты в сакле —
Мысли тоже напросвет.

Плачь, молись — одна тревога
Может нет, а может да,
И спасите, ради Бога,
От сомнений, господа.

((((((((

Тот самый случай, о которых написано в книгах,
Никогда б не подумал, что это мои стремена —
Однолюбовство, вдовство и тоска без продыху...
Наталь-то, она кого с детства любила? —
Мопассана да Ильфа, Даррелла и Куприна.

Рубикон — не Рубикон,
Рио Гранде — что Канава,
Через мостик и направо,
Там, за церковью, балкон.

Стой под ним, как тот сеньор,
До рассветного трамвая,
Что московских подбирает
От замоскворецких створ

В подворотни, пивняки,
Кабаки и предварилки,
С Рио-Гранд — Москвы-реки
В „Руби Порт“ — и на кон вилки.

Куда деваться, Натали
Куда деваться
Записку что ли перешли
В дурдом сдаваться —
Чего сдавать нам окромя
Порожней тары
Как там, в горах, клялся: Ни дня
Без Вас. Ни здесь, ни старым
Но год второй уже пошел
А жив как пташка

Прости, Наташ, в монахи что ль
Плевать на все. Но соизволь
Блюсти привычно — Красоту
В любых юдолях.

Как День Сурка —
Неделя за неделей.
Один сюжет. Какая скукота!
Лечиться — грех. А вешаться — смешнее.
Отходы есть. Погода лишь не та.

Вчера

Наталь, теперь с котами, как с тобой,
И уезжая, предвкушаю,
Как буду ехать я домой,
Но не вкушать, а окормляя.

Всегда попадаешь меж двух прохожан,
Иль машин в переулке, что то же,
Как курортница меж темнооких южан
На своем гостиничном ложе.

То выбирать надо так или так —
С кем из двоих столкнуться.
А проще — наперекосяк,
И хрен с ним — пускай дерутся.

— Иди, — говорил мне папа,
— Иди, — говорила ты, —
Не слюнничать и не плакать,
Дорогу не прогляди.
Так говорил мне папа.
И ты говоришь: — Иди.

Палю дотла. Наталь,
Ты вряд ли тому рада —
Забыла уж, поди, и внове родилась.

Коль хохот в крепости —
Снимается осада.
А мы с тобою отсмеялись всласть.

Духи следом. Сердце стонет.
В перепутье средин.
— Не беги и не догонят, —
Так сказал мне Дух один.

Изрыгая блев проклятья
(Таракан бы лысый стух) —
Все вдогон. — На чем стоять-то?
— Здесь я, здесь, — ответил Дух.

Как говорил пророк Исайя:
Лишишься и того, что есть,
И смерть свою возненавидишь,
За то, что не идет
В постель, как женщина,
На кухне задержавшись...
— Оставь хотя бы газ!

Пришла старушка-смерть,
Но нет, она красива,

Лет сорока едва, ну, разве 50,
За сердце тронула и ласково спросила:
— Грязнуля! Мыться-то пойдешь?

Не могу говорить я с Богом
Стесняюсь как в Овире
С рекою С морем С болотом С горою
Свои ребята - договоримся

Не говоря о тех Кто на стенах
Сплошные диалоги
Не говорящие попались боги
Не попадя зачем хранят?

Из постели не слезая
Не теряя красоты
Это было нет не в мае
И не ландышей песты

Это было просто было
Той ноябрьской порой
— Ты куда? меня спросила
— Как куда — за «Хванчкарой».

*Александр Александрович Пушкин (Москва, 1957),
20 и 17 школы, МГПИ им. В.И. Ленина. С 86-го — в Нью-
Йорке. С № 80 — редактор данного журнала.*

Знаете ли вы Мишу (пардон, Михаила) Брифа? Нет, если вы не из Нью-Йорка и не крутились на лит. тусовках, то вряд ли. Он, уроженец Херсона, жил в Москве и печатался много, конечно, но слишком часто его короткую фамилию сокращали до еще более коротких аббревиатур. А между тем, он — давно уже классик современности. Образность, мысли, ирония, краткость (недаром — brief), оригинальность рифм и пр., и т.д. Да и стаж изрядный. Лет „50 в литературе“, не менее. И вот:

Доплыл он до веселых лет,
Как Геркулес к гипербореям,
Сколько? Забыл — не в том предмет.
Они ж, поэты, не стареют.

Александр А. Пушкин

Михаил Бриф



Рассвет о трудах напомнит.
Сижу, карандаш очиняю.
Я стихотворец-надомник:
в окно гляжу, сочиняю.

Исправлю в строке ошибки,
размер подберу забавный.
В окне порoshат снежинки,
орёт воронье за баней.

— Эх, — разорву я ворот, —
Муза моя, да где ж ты?
— Хрен тебе! — хмыкнет ворон,
круша все мои надежды.

Заводит разлука
протяжный, отчаянный вой,
февральская вьюга
смертельные раны залижет.
Любил многих женщин,
теперь не сыскать никого,
мне скит и безлюдье
сегодня желанней и ближе.

Но как бы нещадно
судьба ни глумилась порой,
гуляю над бездной
по самому крайнему краю.
Я в собственной жизни
играю заглавную роль.
Статисты уходят,
я сам до конца доиграю.

Владимир Алейников

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ: СМОГ

...Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.
В них — дыханье свободы. Сквозь непогоду —
зов и знак.

Шестидесятые. Время радости и любви.
Молодость. Надо всеми — свет: дивись — и живи.
Вроде бы так. Но всё же — вдосталь бывало бурь.
Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.
В бездну порой глядели. Ждали святых вершин.
Можно ли все метели мерить на свой аршин?
Можно ли все раденья сызнава вспомнить вдруг?
Память — мои владенья. Что ж, обозначу круг.
Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.
Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.
Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.
Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.
Я не случайно с вами, други мои, сейчас.
Вставшие за словами, здесь вы.

Так в добрый час!

То-то нынче — достаточно снова мне увидеть нас,
молодых, четверых — себя самого, глаза свои полу-
закрывшего, словно внутренним верным зрением
увидавшего наперёд всё, что будет с нами потом, об-
нимающего за плечи друзей своих — Лёню Губано-
ва, глядящего вдаль обиженно и отчаянно, — будь,
мол, что будет, — и, с растерянной полуулыбкой на
лице Пьеро, или нет, Арлекина, скорее, — Юру Кубла-
новского, а за нами, вместе с нами — и чуть в сторо-
не, со склонённою головой удалой, — Аркашу Пахо-
мова, — на старой, чудом, наверное, сохранившейся
фотографии, — чтобы вспыхнуло — или в сознании,
небывалым, дивным сиянием, или в небе, ярким со-
звездием, — незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?
Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то — зажгли огни.
Долей стали — былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий
в сумерках след всех, кто шёл — при царе ли Горохе
или позже — сквозь изморозь лет. Пожелтевшему ста-
рому снимку, поседев, удивись и пойми — там пля-
да былая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми.
Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы
поднялись из оков, что всегда находились на земле,
где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное,
что само за себя говорит, — но извечное пламя свеч-
ное наши лица ещё озарит.

...Выхваченное лучом таинственного прожекто-
ра — пограничного, может, военного, затаившего-
ся до поры, до того мгновенья, когда будет знак ему
подан снова, в коктебельской, приморской глуши —
и внезапно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-то,
включённого, заработавшего, да так, что видны да-
леко вокруг все приметы вечернего берега или сон-
ного моря ночного, — или нет, совсем не военного,
но — магического, такого, для которого всё доступ-
но, всё возможно, всё достижимо, — из кромешной
тьмы смоляной, из ушедшего времени прежнего, из
каких-то скрытых в пространстве арсеналов памя-
ти, чтобы оживить былое, осмыслить, по возможно-
сти преобразить, дать ему, невозвратному, имя, да-
же так: призвать, возвратить вот сюда, в начало не-
ясное как-то быстро, совсем уж негаданно, разом,
резко, внезапно пришедшего в нашу жизнь столетия
нового, приголубить, согреть, обнять, зарыдать, по-
молчать, понять?

Росчерк солнечного луча?
Или всё же — это свеча?

Со свечой, точно встарь, — при свече, у свечи, — в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман — с лепестком на плече, густком крови сухим, лепестком поздней розы — в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листьям.

Ну-ка, встаньте передо мной, из бывшего шагнул сюда, в новый век, в коктебельский, давний, от ненастья спасённый рай, в дом, где жив я памятью, волей и работой, друзья мои, появись, один за другим, чередую, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам страным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, други, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.
Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?
Лучший из атаманов.
Истовый. Грозовой.
В юных стихах — живой.
Конечно, Лёня Губанов.

Глаза — пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка — неровно подстрижена. Ворот рубахи — расстёгнут. Рот скомороха — большой, вырезанный упрямо, ещё немного — и станет греческой мажорской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб — в лёгком поту. На шее — крестик. Руки взлетают вверх — и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысок, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать.

Или вдруг засмеётся. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь бы речь клокотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос — логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки — из яви? Да. Над бесчасьем — в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он — с дороги. По России привычно ездил. А теперь он — в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там — Архангельск и Соловки. А на западе — граница. Он уедет туда — потом. А сейчас — он живёт, как птица перелётная. Нынче — здесь, завтра — там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает — из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: „Старичок, пора!“ Он уходит. Куда? Кто знает! Может — к новой подруге. Может — в храм. А может быть — в те края, до которых добраться сложно. В завихренье снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним — навсегда ушло. Как и сам он — из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться — уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда — в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо,

всё же знача, достижимые там и тут, чередою сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведущую в даль, где есть из бывшего благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновенье — всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт — за троих. Смешлив. И — застенчив. И весь — порыв. Но — куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет — в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Интересов — широкий круг. Увлечений — хоть отбавляй. И энергия — через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония — словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь — сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть острастка: туда — нельзя. Есть смекалка: туда — скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обрётённая седина — словно снег. Бородат. Встаёт — в рост — над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он — в привычных своих трудах. Подрабатывать. И — выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И — с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар — мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны — посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его — не открыть. Спит. Стихи его — будут жить.

У кого это, узколицега, чуб на лоб и затылок стриженный, вид геройский и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит — в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит — о своём. Из этого — возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то — порой равняется. И кому-то — отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там — поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою — он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его

знобило там, где к таинствам мог быть вхож. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным — иногда. И опять — в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжущей, чьи секреты — в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда — идущим. Или — едущим. Чуда ждущим. Создал исподволь — всё, что смог. Стал — седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И — появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы — на виду. Исчезал — незаметно. Разом. Повинуясь судьбы приказам. Без пристрастия к прощальным фразам. И — без писем, хоть раз в году. Фантастическое уменье — продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пенья, по старинке продлится рвенье, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настезь рамы. Дверь захлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И — налегке.

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим нежданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И — соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд — всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, — и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы, в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё — всерьёз. Всё узнаем — и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб — жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо — дружить! Дружба — редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может — звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, — да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска — и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей — навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После ничего детства — надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И — нашем. О заветном. И — о былом. Вдохновенный. И — оживлённый. Вздуродраженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений — не счастье. Лицо — покруглее луны. Бородку отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических — и реальных! В нём энергия жизни была, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самим собой. А теперь — его нет на свете. Может, есть? Может, всё же — есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови — то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь — в книгах моих живи. Постояв среди вагонной тряски, приезжай незаметно в рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль свою — до конца играй. Будет весело — хоть и больно.

Подумать ведь только — сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов — или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова — смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина — белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза — удивительны. И трактат

знаменитый — о небытии — озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость нежданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец — иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть — как все? Не таким, как все. Быть — провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горожанином быть — и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по праву душе всегда. Чередой прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот — весть от него. Речь — жива. Он — есть.

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМО-Гу. Не время. Да и не место. Сами они придут в прозу мою — потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

Над минувшим — скопление гроз.
Надо мною — Чумацкий Воз.
В небесах. Семь высоких звёзд.
Предо мною — воздушный мост.
Что ж, пойду. Ведь найду я — суть.
И эпохи своей. И жизни.
И событий — в своей отчизне.
Над грядущим — вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?
Нет мне от времени СМОГа покоя.
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова — смог.
Значит, придётся. Свидетелем — Бог.

Что сказать, если столько сказано в предыдущих книгах моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в работе?

Что мне нынче вам говорить?
Что мне делать сейчас? Как быть?
Нет ведь прошлого и в помине.
Или — есть? Не ушло никуда?

Вижу: в небе горит звезда.
Здесь, пожалуй, нужен Феллини.
Выручавший меня с давних пор.
Появляется он, режиссёр.
Не даёт никаких советов.
Говорит:
— Галерея портретов.
Да, портретов. Твоих друзей.
В этой книге — создай музей.
Свой. Особый. Средствами речи.
Ты сумеешь. Действуй, собрат!
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда — запылали свечи.
Засияли — здесь и везде.
И Феллини — ушёл. Сквозь время.
Сквозь горенье в моей поэме.
Улетел — к высокой звезде.

Спohватившись, ему вослед я сказал: „Но ведь в этой книге — есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?“

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты — влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге — портреты. Ну а позже — тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась — вся в сиянье — Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своею трубой серебряной. Джельсомина из фильма „Дорога“? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам — и раздался призывный звук. За которым пришло неясное, нарастающее звучание — отовсюду, с земли и с небес. Посулившее вдосталь чудес.

И растаяли в небе супруги.
Звон раздался по всей округе.
И рокочущий, мерный гул.
Вот и в зеркале явь отразилась.
И в него я и сам заглянул.
Сердце сразу сильнее забилося.

Волшебство? Желанный ответ.
На вопросы. Голос и свет.

И тогда — различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою — и с нею было мне так светло на душе — и сызнова стали явью былые дни.

Закружились огней рои.
Темнота исчезла ночная.
Новый век. И — юдоль земная.
Где вы, где вы, друзья мои?
Те, кого считал я друзьями.
Те, кто дружбе верны поднесь.
Приходите. Все вместе. Сами.
И останьтесь надолго — здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу — из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по наитью, строится лад звучащий — и здесь освоится, — ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива — и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестьем такого зова, что приметы земного крова станут звёздам родней родного. Величанский Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутул немало. Стоек. Дар у него — от Бога. Пил — как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным — был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом — на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно луч свободы врывался вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче

строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. Величаем его теперь. Многовато у нас потерь. Сплошь — зияния. Рвётся нить. Больше некому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы — смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья — шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут сызнаова отыскать. Будет время волной плескаться в берега, где стоим порой, где редееет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чертоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом — и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням — длиться. Легендам — жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьеру — махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом — в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком первоклассным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И — соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он — действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки — вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал — и опять работал. Постарел. Как-то сохся, сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из друзей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоик был и вынослив — но сказалось всё напряжение

сумасшедших минувших лет на здоровье его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила — так страдала. И однажды, восьмого марта, через год после Петиной смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать — вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла — восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомнил ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя — жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме — незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь — до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда — был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве — не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был — в самиздате. И этого было предостаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непростые, золотые, была у нас обязательной и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом — не пил. Незаметно — вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было.

Но книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли болезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник — ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, — в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим — навек — дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замысганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт — в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бессчётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт напрямик в блаженный, впереди обещанный рай. Или — в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья — цел. Несмотря на утраты — полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём — он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казацкой своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то же не приснился. Та спросила его: „Ну как ты?“ И ответил он ей: „Борюсь!“ В этом — весь он. Он — здесь. Он — есть. В том, что создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют — благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был — от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в Москве. В Коктебеле бывал дважды — в давних шестидесятых и в начале псевдосвободных какбывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был — мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочеем был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтом был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда — среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой — лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал — с голоса. Переехал из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяниям никогда он не изменял. Другом был — небывало надёжным. Смело можно сказать — вернейшим. Положиться мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался — изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни — легендой. Скромность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И — вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил — неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он — в былую эпоху. Состоялся в ней как поэт. А в начале столетия нового — умер он. Тяжела утрата — для меня, для всех земляков. Но стихи его — вместе с нами. Жизнь встаёт — за его словами. Речь — жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской — тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте — в Днепропетровске. А в начале шестидесятых он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда подружились уже тогда. Позже он в Подмоскowie, в Люберцы переехал.

Мотался часто по различным командировкам. В основном, по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была — порою казацкая. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне — попроситься с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи — остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казацком, — Вольном. Так вернулся он, покитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его, и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы — в даль зовущую. Все прорывы — к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И — Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым — на поэзию, на искусство. Понимал несравнимо лучше многих прочих людей, что к чему. Видел — суть. Прозревал — грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолобив.

Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движениях. В очках. За которыми — полные жаркого, золотого огня, — глаза. В них — душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником. Всё прошёл — и гонения, и беды. Надрываясь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но — восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал — для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он уплыл, на отдыхе, в море, в одиночку. И — не вернулся. Через сколько-то дней нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или — в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека — оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно их них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд — с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был — настоящим. Но пришлось заниматься — наукой. Написал

он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё — по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Много знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом — он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех — неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше книг, чем в России. Другьям — не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот — вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю — молодого. Умного. Доброго. И талантливого. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них — живые слова и фразы. И за явью в них — волшебство. Всё — его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает — Путь. Дружбы прежние — всё дороже. Может быть, нам удастся всё же повидаться — когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой — почти половину столетия. Высокий. Когда-то был — худым. Теперь — погрузнел слегка. Поседел, конечно. Борода — по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых — начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили — пешком. Он любил чудачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен.

Знал цену дружбе. И — цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом — жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает — и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из диковин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так — интереснее жить. Дети — выросли. Внуки — есть. Да и тексты — изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь — беседуем. Оба — седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба — в разные стороны, разъезжаемся — по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались — всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдосталь наговорились. И сейчас говорим порой. Хоть и видимся слишком уж редко. Но зато — конечно же, с толком. Говорим — словно не было вовсе промежутков в общении нашем. Нить духовную — невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, — ничему. Время — с нами. И память — с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато — прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И дружбам верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Соратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них — стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад — неизменны и драгоценны. Издают их, пусть — постепенно. И — читают. Они — живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смирненно ждут — и вниманья, и пониманья.

Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, — может, пламя свечи полночной, может, отсвет зари бессрочной, может, звезд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство — шире. Время — дорого. Речь — жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Слово кость — поперёк ли горла, поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный, скорее. С юмором характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был — таким. Какой он сейчас — я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в молодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием „Шея“, на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГу. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал — известный „Ковчег“. А потом — пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселлером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не выдалось мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, — чем он жив, как живёт, и так далее. Существует — и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хранящей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас взрастившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом — геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмосковье. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные — в досталь было их — объединения.

И везде — читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии, несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало — и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, — лишь по-сверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию — страстно любил. И особенно — символистов. Да и сам был — таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый — есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей. Бурный, грузный, очкастый, с берете. И — с тетрадью стихов под мышкой. Но — подвижный. Ходил по окрестностям коктебельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем — его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.

Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, слегка под хмельком. А иногда — и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях — демиург. В застольях — руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился — легко. Лишнее — отметал, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так — спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал меру. То есть — не перерабатывал. Оставлял себе в досталь времени — для прогулок, пиров, ресторанов и поездок — благо была у него такая возможность. Жил — размашисто, широко. словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополучил. Был

талантлив. Ревнив к соратникам — иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку — стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книги выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти — пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом — о нём. И осталось в памяти — дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит привычно: „Понятно!“ — и улыбка его приятна встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недоволен, а теперь — давно вседозволен? Всё равно ему. Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно — невозмутимый. Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным — в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом, для телевидения. Жил — без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложилась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он относился ко

мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спокойные разговоры — то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его сочинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературоведы нынешние. Только в памяти — он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой „аэродромом“. Он — из Харькова. Прибыл в Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сразу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду — скромный. Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему богема. Все решали его проблемы. Он об этом потом — забыл. Голос вкрадчивый стал нахальной. О судьбе своей эпохальной заявлял он ещё давно. Самомнение — нарастало снежным комом. И маска стала — главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочинял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по-новой начал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций — куда деваться? И в политику он полез. И — прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изверскую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю страну. Не агнец невинный — натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу — победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё — в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём — говорили. А потом — что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян — на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить — в Москву. Потому что была столица для людей богемных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недостижимого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним — жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве — прижился. Был душой любой компании. Зарабатывал в „Литературке“ и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг — кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги — тоже уехали. Оказались они — в Америке. Поселились они — в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали — Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался — самим собою. Непрерывно работал. Был — в эмигрантской среде — известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подалее, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах — беседовал по телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он — уже угасал. И однажды — покончил с собою. Горевали о Бахе — все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе — все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось — великое множество первоклассных его работ. И осталась — Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась — память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он — Епишин. Лён — псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть — так.

Хочет — будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна — радушным, всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоенный, в рюмки крохотные наливающим. Он — хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей — болят. Похмелиться гости велят принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливается. Всем гостям напоказ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпирии. Потом — на лёд. Пируэт. А потом — за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём — смысл собраний. „Когда кирнём?“ — каждый думает. Все — тихи. Лён — читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи — гош. Он придумал „Бронзовый век“. Был активен сей человек. И теперь он — везде. Куда ни придёшь — там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор — не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся — на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде — вода. Исчезает фигурный след. За болотом — дороги нет.

Кто это там — из прошлого? Или, может, — из настоящего? Бородатый. Довольно высокий. С виду — вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно — играет в теннис. Голос — низкий. Глаза — горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он — учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компанейский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти — Дон-Жуан. И — доктор наук. Он, конечно же, книголюб. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе — и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную — наукой. Давним друзьям — верен доныне. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь — есть. И — живут. Из былого века — речь хорошего человека. Из бесчатья — потомкам — весть.

Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийской бородой — в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете „За доблестный труд“. И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести — не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздабривал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там — возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял — пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимы сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он — выстоял. Выдержал — всё. И решил остаться — в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на „Свободе“. Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облучился он в армии, на секретных объектах, в молодости. И сказалося это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима — лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда — запивает, бывает. А потом — прекращает пить. Он — живучий. С корнями крымскими. С коктебельской хорошей закваской. И с московской. Он — свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди — свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури — вроде, давно отгремели. Сердце щедрое — бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также — известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но — достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для настроения, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был — Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал — Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды — и стал. Эрлем быть — непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который — сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос — к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда — велик и мил. В нём прижиться — хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолевал перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье — крик. По созвездию — ясно. Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впредь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В боль, скорее. Такая роль. Есть отрада. И есть — игра. Что же будет — потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишься, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать — нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над

невской стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это — в прошлом. А теперь он — самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был — худым, даже тонким. Лёгким на подъём. Повидал немало разных мест в отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал — автостопом. Временами — ездил на поезде. Жил он раньше — в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный „бродянский хлеб“. Обладал чутьём фантастическим — на достойное, настоящее, — и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом — всё роздал. Имущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал — всё. От всего стал — свободным. Опростился — до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал — целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд — словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке — хлеб и капуста. „Кушай!“ — говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он — вдруг уходил. И — надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом — он исчез куда-то. И не просто надолго — на годы. Где он был? Появился — сам. Оказалось, он путешествовал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её

проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой небывалой. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Арарат. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное — для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду — волшебник. Борода — ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того — редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время — с нами. Творчество — с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом — друг он. И ныне — друг он. И останется им — всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он — левой рукой. А стихи писал — правой рукой. То есть, с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сноровкою, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб — на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал — сам и сказал. Глаз прищурен. Язык остёр. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато — берет или шляпа — знай, мол, наших! — на голове. Гонор был завсегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать — ночью и днём. Рисовал. А потом — гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетой был знаком, со страхом, — с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был — хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье — сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить — сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь — одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям — назло. Почему-то ему везло. Постарел.

Растерял друзей. Вроде, жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе — да сплыл. Берет мокнет в глубли минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он — Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже — состоялся. Был всегда он — самим собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом — отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога — для трудов его постоянных. Он работал — и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато — превосходным мастером. Годы шли. Мы не виделись долго. А потом — повидались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они — многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило — о прошлом. О своём. И — нашем. Хорошо. В настоящем он жив — работой. И храним он — своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал — подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал — в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он — с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы — кого куда. И не знал я лет сорок пять — где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки — словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках — все мы, вдохновенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый — в юности. Ныне — солидный, степенный, спокойный, но — со взрывчатостью, возникающей неожиданно. В СМОГе был — вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение — упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского — прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов — „Слеза Овидия“. Угощал им друзей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой „Волге“ своей укатил в Бухарест. Но в Москве — появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава Богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда — стихи возникают. На него самого похоже. Внешне — вроде простые, сдержанные. Но внутри — негасимый свет. Испытаний — вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкевич. Автор текста „Метапсихоз“. Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлённый, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу — не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл он всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже — долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его — за границей жил. Гнал ему „Мерседес“ оттуда. И разбился на гололёде.

Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти — да весёлый голос. Из прошлого — глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собирает книг раритетных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать — театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою — печальный. Но — искренний. И отзывчивый. Поэзию — понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по-своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал — надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась — тайна. И — память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдалеке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из былого, да цветков шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит размашисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших — всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых — текстов, им же тогда, на машинке, вечерами перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнаружит их, покажет современным людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновенья, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, листвой шелестящими на ветру, то в его

квартире, небольшой, но такой уютной, где врывается в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестием воли, ну а воля — началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, — обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас-то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба — жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович.словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умён, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создает институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращаются. Помнит — всё. Всех поддерживает, опекает. Он — творец. И жизнь его — творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творян. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда — в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он — чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним — Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая,

верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи — незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы — святы, годы наши — давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время — за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы — путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны — той, которой на карте нынче нет, которая всё же — с нами, в нашей памяти, в наших снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём — когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки — жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон — кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь — отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он — волевой. Несмотря ни на что — живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над градом — его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Словно вестник добра. Для всех, с кем знаком он — и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и ввысь. Встаёт свет над ним, чтоб сияньем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдоль. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче — дружба. Верней — слова. Зеленой и шумней — листва над его головой седой. И душою он — молодой. Мудрый. Искренний. Книгочей. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним — хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Словно днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже — рядом, и жизнь — светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И — Мери, его жена. Словно в непогодь, вдруг, — весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь — и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, — сирень. За порогом — небес простор. Вдосталь — музыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен — с высоких звёзд. Над

пространством — воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим — комет рои, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия даря. Над грядущим — горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счесть различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он — инженером. Словом, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим — в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его — тесен был. Тонкий, стройный, — струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или — осенью. Или — зимой. Или — в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знарок поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он — многое. Жил — свободно, независимо. От всего, что мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто — жить. Но — по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, — в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обретённой вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятым. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни — в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире — таким, как сложилось, как вышло. То есть, принимать всё — как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но — звучащий всесильной музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, — с ним.

Вот он машет рукой — издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но

в пространстве — сквозь время — движется. Неизменно — сюда, ко мне. Из былого — навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернобородый, с сединой сизоватой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом — ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен: гости пришли. Навестили его — в мастерской. А работа — пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз — из немислимых лет — на нас. И — на каждого. И — на всех. И — улыбка. И — взлёты рук. Вверх. И в стороны. И — навстречу. Всем он рад. Привечает — всех. Говорит — о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются — в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого, стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в транс явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из былого, из круга СМОГа. Поредели друзей ряды. В небе — свет путовой звезды. Тишь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними — жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, — и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства — для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот — от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные години, — кто пил, как мы? — попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино! Кто выжил — цел, — но сколько вас в земле, друзья мои, — и с кем ни говорю я, о вас — в толпе, в хандре, навеселе, в беспамятстве оставленных — горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немотствующий выстрадав мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой — впотьмах полынь

в руках переминаю, сидящей качая головой, чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту — то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло — говорю об этом. Благо время — в родстве со светом. И поэтому — в добрый час!

Вот и вышло — ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим — и, тревожась, я сам не знаю, где мы — в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шорохи и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты выловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомицы выбор гордый. Хмель повыветрит на рассвете век — железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся — не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампирный, — пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключения, ключик выпал, — теперь не к спеху вспоминать, — но влечёт мученье — тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорзоркие сны, что служить возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя бесприютного, в искушение пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем — радость и весть, и петушьего крика победного — только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взъерошенным диспуттом из гнездовой сплошных, с переключкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговою порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое — пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожждаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокруг, приподняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и высь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то артачится — не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да больём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловною — при свече и звезде.

Владимир Дмитриевич Алейников, поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил

искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе и широко распространялись в самиздате. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии и др. Книга „Пир“ — лонг-лист премии Букера, книга „Голос и свет“ — лонг-лист премии „Большая книга“, книга „Тадзимас“ — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов „Стрелец“, „Крещатик“, „Перформанс“, „Дон“, альманаха „Особняк“. Член СП Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Живёт в Москве и Коктебеле.

Леонид Рохлин

РУСОВИРУС

Случайно наткнулся на исповедь знакомого человека. История заинтриговала оригинальностью материала и... нелепой трагедией смерти автора исповеди. Думается, предлагаемая история может заинтересовать многих людей, покинувших Россию. Я лишь отредактировал рукопись.

Старик окончательно проснулся. Встал. Походил. Сел в кресло. Сон растревожил душу. Настолько, что тело впервые за долгие годы взбунтовалось и нарушило привычный распорядок дня. Тело не пошло на прогулку, не приняло холодного душа, не получило удовольствия от красивого обильного завтрака. Ощущалась общая подавленность. Тело, как вулкан, с глубокой ночи было переполнено ядовитыми мыслями о славном прошлом. Старик застыл в кресле, не в силах оторвать взгляда от большой настенной фотографии сыновей.

Господи! Какой лучистый взгляд. Буквально насыщенный энергией. Сколько же ему здесь. Кажется 7 лет, а младшему, значит, 4 года. Благословенное время. Надежды и Веры в счастливое будущее. Да какое-там будущее! Оно тогда ощущалось повседневно. Оно же было, чёрт возьми. Было!!! Чудесная, уютная квартира, любимая женщина и заботливая мать и два неразрывно связанных колобка, постоянно хохочущих, требующих внимания и общения. А как он горел, старший, переступив порог Гнесинки. И эти эмоциональные поиски звука для своей флейточки. — Батяня, — твердил он, — только в Индии, в Гималаях, среди браминов, жрецов, я могу отыскать самый чистый звук, самое искреннее звучание.

Звуки флейты разлетались по квартире постоянно. Старик ничего не понимал в звуках, но чувствовал неистовость момента в жизни старшего, горение души любимого существа. Млел от радужных

картин скорого появления нового моцарта. Идя навстречу его мечте и уже обладая кой-какими материальными возможностями, начал что-то предпринимать. Но тут возникла Америка и всё быстро переигралось. Моцарт нашел звучание в университете городка под Чикаго. Казалось, всё шло отлично. Там внезапно и произошло таинственное событие, наподобие подводного вулканического взрыва.

Катастрофические последствия предсказать было невозможно. Да и увидеть хотя бы признаки взрыва старик не мог. Разделял океан. Жалобам невестки не придавал значение. Мало ли что, думалось ему, ведь ещё юный, образумится. Но не тут-то было. Вскоре Моцарт решительно и бесповоротно порвал с музыкой, потом с Америкой и возвратился в Москву, переполненный болезненным, мистическим патриотизмом. Таинственный взрыв породил смятение души. Родились новые звуки. Не музыкальные. Патриотические. Служение матушке России в преодолении очередной смуты. Борьба с ворами и разбойниками посредством журналистики. И... православия.

Пришлось следовать ошеломляющим изгибам движения сына. Препятствовать было невозможно. Но надежды всё ещё продолжали рдеть. Ведь талантливая, молодая душа. Обязательно найдёт место под солнцем. Вскоре появились статьи в большой газете, потом другая, третья. Много статей, рвущих в клочья мздоимцев и рвачей разных мастей. Старик снова возгордился. Если и не Моцарт, то уж Плевако или Флоренский точно обозначился.

А чтобы уютно писалось и отдыхалось после поездки по российским растревоженным дорогам, купил сыну небольшую квартирку в центре Москвы.

— Надо же, старый идиот, — заворчал старик. — Не заметил... Сейчас-то понимал, что ещё в России, перед отъездом в Америку, в мозги сына

проникла вирусная клеточка, в которой вызревала одна-единственная болезненная мысль... — стать самым русским из всех русских России и Зарубежья. Переплюнуть всех патриотов. Мысль была острой и искренней. Поначалу клеточку никто не заметил. Она родилась, замерла, огляделась и... стала неуклонно, неумолимо пожирать соседние. Америка сытая страна. Потому клеточка интенсивно размножалась. Не сразу. Периодами. Потихоньку. Иногда на месяцы впадая в анабиоз. Вдруг просыпалась и вновь жадно начинала пожирать соседние клетки. Когда колония русоклеток (так про себя старик называл вирус) захватила ключевые участки сознания, то естественным образом изменила процесс мышления.

— Вот тогда-то с моцартом и было покончено, — вновь вполголоса забормотал старик, — удрал в Россию.

Именно тогда стали отчётливо видны перемены. Особенно во внешнем облике. Появился образ революционного интеллигента в среде современного московского журналистского мира. Да нет, точнее купеческого приказчика. Там оригинальных множество. Но даже и там, наверное, разинули рты. Сын стал постоянно носить навывпуск длинную рубаху-косоворотку. Белую для воскресных и праздничных выходов, серую и жутко мятую — для будничных дней. Подпоясывался витой верёвочкой или тонким ремешком. Рубаха висела на бесформенных широких портах, заправленных в пудовые, непременно кирзовые, сапоги гармошкой. Летом на голове невообразимый картуз с чёрным козырьком. В осенне-зимнюю пору, как дань глубокого уважения к революционным братишкам, будёновку и старое-старое истрёпанное кожаное пальто. Этакое дикое несовместимое соединение русского городского мужичка-народника и его убийцы большевичка-комиссара.

Когда же я впервые заметил метаморфозу в сознании сына? Ну да, конечно, помнится. В аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5–6 летнего отсутствия в России.

Сын встречал. Старик обалдел, а сын смущённо опустил глаза. Видимо, ещё действовали остатки аборигенных отцовских клеток. Окружающие смотрели удивлённо, слышался смех молодых девушек. Старику

подумалось, что это своеобразная игра. Причуда или бренд для успеха в журналистской среде. Ни то и ни другое. Это было уже его естеством. Бурным развитием вирусной русоклеточки, фатума извне, круто изменившей необычайно энергичного, увлечённого, интеллигентного юношу. Клеточки фатума настигли в двадцатилетнем возрасте. Особенно по приезду в Россию, где питательные славянские ветры, словно глубокой вспашкой, окончательно взрыхлили душу и быстро взрастили и объединили колонии вирусных клеток. Кто знал, кто ведал, что поиски истинного звука окажутся первыми проблесками судьбоносной неизбежности.

Старик замычал, словно от острой зубной боли. — Что с тобой? Очнись! Встань ты, наконец, с этого кресла. Я тебе греночки приготовила. Твои любимые. Пойди перекуси и пройдишь, — говорила изящная супруга.

Старик послушал рыжеволосую Медею и вышел на просторы большого парка, но дошел лишь до первой скамеечки в тени развесистого граба. Тяжело плюхнулся. Не хватало дыхания. Груда мыслей о любимом сыне продолжала сдавливать обручем лысую голову.

— Каждый ищет и находит удобную нишу для жизни, — с неослабевающей скоростью бежали мысли старика, — в соответствии с запросами души. Одни находят открытую — это для революционеров. Другие закрытую — для премудрых, осторожных и чаще боязливых пескарей. Надо сильно обломать человека, чтобы тот перебрался из первой ниши во вторую. Кто ж тебя сломал, родной мой? Любимый. Такого сильного и красивого. И как жаль, что рядом оказалась не Медея, а всего лишь провинциальная Гестия. Так сломал, что ты напрочь разуверился в людях своего родного класса. Творческой интеллигенции. И подался с распростёртыми объятиями к серому деревенскому обывателю, пытаюсь облагородить его душу несвойственными идеалами.

— Ты плохо знаешь историю России, сынок. Смотри-ка, — лицо старика разгладилось в улыбке, — божья коровка прилетела. Старая, с семью точками. Неужели пережила зиму? Ах ты, красавица.

Старик попытался погладить пришелицу. Та яростно оборонялась, спрыснув на палец вонючую желтую жидкость.

Вот оно! Борьба до конца. Не тронь меня... За радость жизни. А ты! Молодым и сильным сломался. Прав Бердяев, говоря о заразном характере славянской душевной лени, апатии, с периодами коротких бурных порывов, быстро исчезающих в океане окружающего российского равнодушия и безволия.

Вот таким бурным порывом, наверное, стало внезапное и всех удивившее поступление в духовную семинарию. Чтобы стать священником. Окончательно и бесповоротно переродиться. Но порыв быстро иссяк.

Старик поёжился. Холодный ветерок, скатившийся с ближней двугорбой сопки, проник под куртку. Заставил встать. Надо пройтись. Хорошо бы пробежаться, как бывало. Да-да. А потом, как в студенческой песне — ...а доктор на блюде мой мозг уволок... Красота-то какая кругом. Господи!

Перед стариком расстилалась ровная длинная долина в лесистых горах. Развесистые грабы, огромные дубы и остроконечные сосны были раскиданы отдельными островками по необъятному зелёному полю с невысокими плоскими холмиками и... извилистыми асфальтовыми тропинками.

— Вот эти непонятные американцы, — бормотал старик, — важно ходят по долине вдвоём-втроём с клюшками, бьют белые шарики, стараясь попасть в лунки. Медленно, спокойно, под дымок сигар и аромат дорогого виски, которое с почтением носят за ними слуги в ливреях, степенно беседуя о политике, экономике, сексе, искусстве. Параллельно на прудах пасутся утки, гуси. Шмыгают трусливые зайцы, щиплют травку изящные олени. Никто никому не мешает. Называют всё это спортом.

Старик лепетал слова, шагая среди лесных островков, лощин и холмов. Красота пейзажа растворила, а ветерок выдул остатки ночных мыслей. И вот уже шаг стал увереннее, взгляд веселее. Мы ещё пошумим напоследок. Пошумим.

Но придя домой, усевшись в кресло, старик вновь встретился взглядом с большим портретом старшего сына. Молодой восторженный парень обнимал крохотную дочурку, сидя на бревне возле реки, и смотрел на старика. И вновь поток воспоминаний обрушился, низвергаясь с высоты прожитых лет. Такой день выдался.

Интересно наблюдать, как быстро меняются приоритеты в сознании человека. Что воздействует? Постепенное и ежедневное наблюдение или мгновенно возникающие факты и события. Ведь были же поиски чистого звука в Гнесинке, университет под Чикаго, концерты, публика, даже подавал документы, точно помню, в Julliard School в Нью-Йорке. И вдруг что-то сломалось. Возникло подавленное настроение, нежелание общения с друзьями, уход в себя... И как следствие, рождение искренних убеждений в необходимости жить в образе маленького спасителя России в крохотной церквушке где-нибудь в Архангельской губернии. Подальше от общественных бурь. И вот уже всё бросает и летит в Россию... Помню, отлично всё помню.

Лицо старика исказилось. Он повернул голову и уткнулся в другой портрет сына. Пятилетнего мальчишки с таким брызжущим солнечным весельем во взгляде, что содрогнулся. Господи! Ну почему так. Сколько счастья доставлял мне. Сколько прибавлял энергии, желания действовать. Творить. Стараться. А сколько раз останавливал, когда умом овладевали греховные мысли. Сколько пролетело бессонных ночей в вонючих гостиницах, в набухших от дождя палатках, в ожидании встречи с ним, неумолчно тараторившим „почему-да- почему“... Сколько разговоров возле настенных карт в детской комнате о странах, городах, истории народов, открытиях и забытых именах.

А рядом в обнимку с мамой висел портрет младшего сына. Старик встал и вгляделся в портрет младшего, затем старшего, изучая черты лиц. Надо же. Какие оба молодые. Чуть ли не одних лет. Когда же это было? Да! Младший не был почемушкой. Чётко, с детства, осознавал, что реально ему необходимо. Но и не был ботаником. Был мудрым с рождения, тая изюминку. От всех. Возможно, и сам не ощущая.

Изюминку, — мысленно повторил старик. Наверное, невольно ожидал благодатную почву, в которой она прорастёт до лозы, рождающей крупный сладкий виноград. Дождался. Почвой оказалась... Америка. Она стала младшему благодатью. Старшему — выжженной пустыней. Снял со стены фото младшего. Погладил, пристально вглядываясь в сотни раз изученное лицо. Прошамкал.

Оказалось, изюминка требовала для прорастания строжайшей дисциплины ума и крайнего напряжения нервных сил. Они и были заложены в нём. С избытком. В старшем с явным недостатком. Необъяснимы твои творения, Господи. Одна мать, один отец. А результат... Надо же.

Обед прошел вяло. В молчании. Старик чувствовал любопытный взгляд жены, готовые сорваться вопросы. Даже громких замечаний сегодня не было.

— Что-то не могу. Извини. Не хочется. Пойду посплю.

— А я так старалась. Это ведь твоя любимая осетринка в морковном соусе под майонезом.

— Не могу. Извиняй, Грицко, — сострил старик и жалко улыбнулся. Но и в уютной детской спальне, где он любил днём дремать, полной плюшевых зверьков маленькой внучки, мысли не оставляли старика.

Все лентяи любят праздники — гражданские, религиозные, профессиональные. Любят ежедневное восхваление всеобщей лени. Празднуют отчаянно, широко, самозабвенно, с придумкой. Настолько, что обалдевшим приглашенным становится неловко и стыдно за прожитые годы, заполненные, чаще всего, нелюбимой работой. При этом уверенно философствуют. Откровенно. То ли рисуясь, то ли искренне удивляясь — как иначе можно жить? Старик вспомнил откровение старшего сына в один из его редких приездов в Америку. Настолько поразившее старика, что в ту же ночь, пережёвывая в сотый раз слова сына, встал и, найдя клочок бумаги, записал. Почти дословно. Не зная, зачем. Совершенно не предполагая судьбу записи. Куда я мог засунуть? Памяти уже нет. В архиве. Но где? Не знал, что так скоро пригодятся. Господи! Неужели... Да нет. Не мог выбросить. Вот они.

Они двое в машине. Поздний вечер. Сын чего-то спрашивал. Старик горячо отвечал. Сын молча слушал и вдруг в перерыве возник его монолог, буквально выстраданный. Так показалось старику.

— Как же я не люблю писать, батяня. (Это его единственная работа, приносящая деньги...) Муки адавы испытываю, когда надо садиться за стол. Писать по собственному желанию, вот как ты, каждое утро, каждый день, не могу. Противно. Только когда заказ от редакции. Тут уж деваться некуда. И какое

же наслаждение, прямо физическое, когда сдаю работу и знаю, что 2–3 недели никакой писанины. Вот так, батяня, все последние годы. А уж когда переехал жить в Волоколамск, в этот маленький провинциальный городок, то вообще не хочу никакой официальной работы. Даже таксовать не хочу (нужда заставила подрабатывать в Москве). Лес, грибы, ягоды, солнце, тёплые дожди и лютые метели. И храмы... Это же настоящая жизнь. Уверяю тебя. Я совершенно счастлив. Искренне гармоничен с этими полями, лесами и ветрами. С окружающим народом. Как же здесь спокойно и величаво. Кто бы здесь ни был — коммунисты, фашисты, либералы и демократы, автократы и прочая нечисть — ничего не меняется и не может поколебать этот дух. Русский дух!!!

Старик молчал. Сын понял, что затронул глубокие струны души. Чувствовалось, что ему жалко непонятливого старика-отца. Расстались кивком головы. Только ночью, когда успокоились струны, понял окончательно. Это не рисовка, не самолюбование. Этот апофеоз созревшей философии. Возникла в душе сына монолитная платформа диабазовых убеждений. Он чувствует себя горой — остальных букашками. Вот и отец ползает, словно букашка, у подножья горы или на могилах предков сына-философа, очищая их от буйно растущей крапивы. Сказать ему об этом — как-то стеснительно. Он ведь смотрит вверх и далеко вперёд.

Интересно, что он думает о беспорядочных суетливых движениях отца и брата. Ведь никогда не скажет. Только снисходительно, порой жалостливо, поглядит, смущённо улыбнётся и начнёт вдохновенно рассказывать, как идёт восстановление местного храма, или перечислять полки и дивизии, грудью защищавшие или наступавшие в годы войны в своём городке.

И простой обыватель, взволнованный красивым и доступным изложением событий, обаянием искренней улыбки и смущением во взоре, тянется к ново-явленному спасителю. Настолько тянется, что... совершенно посторонний человек (это удивительный факт...) оплачивает более чем на треть строительство его нового дома, другой привозит груды свежего мяса по невероятно низкой цене, третий бесплатно

снабжает мёдом, четвёртые с поклоном волокут огромную коврижку свежайшего сыра.

Поразительно. Манна небесная. Не помню, чтобы мне хоть кусок хлеба доставался просто так. Старик ворочался, кряхтел. Вставал и снова садился. Плюнул в сердцах и решительно вышел из дома. Заурчал мотор старенькой Masda, но машина ещё долго не двигалась. Брезжил туманный вечер. Кровавое солнце опускалось за горизонт.

Куда? Зачем? К кому? Чёрт бы взял эту золотую клетку. — Поеду в кофейню, — решил старик, — там к вечеру собираются молодые женщины. Полюбуюсь. Они отвлекут от надоевших мыслей.

Приехал. Сел возле окна. Но не помогло. Такой сегодня день был.

И всё же! Кто из нас прав? Кто больше нужен людям? Философ или его брат... Голова продолжала гудеть от вопросов. Кто больше нужен человечеству? Мы или он. Твой младший брат трудится по 12–14 часов каждый день. Включая субботу и нередко воскресенье. Нынче уже старший вице-президент крупной корпорации, главный консультант ещё двух огромных корпораций. Как белка в колесе. Трудится с удовольствием, ажиотажем. И не только ради денег, но более для удовлетворения внутренних амбиций. Искренней потребности души. Многого достиг и стремится к большему. Порой, правда, остановится и скажет: — ...завидую брату... он ближе к Богу...

Господи! Надо же, меня всё ещё волнует молодость, вон те девушки. Старый бонвиван. Они любят кого-то... Размечтался. Но ведь и у меня было три долгих периода весьма активной жизни.

Старику принесли чашечку двойного эспрессо и он с наслаждением, мелкими глотками, смаковал горячий напиток. Мысли продолжали виться колечками сигарного дыма, вытаскивая из подвалов памяти стародавние события.

До тридцати болтался по России, как нечто в проруби. Затем гобийские степи. А ведь многого добился, чёрт возьми. Ведь как забегали в Перми, когда положил перед первым секретарём обкома пробирку с порошком окиси скандия. Главное, понял, что обладаю немалыми организаторскими способностями. Тут грянули безумные девяностые и неудержимо

поволокло в коммерцию. Вкалывал, аж дыхание сдавливало от гордости. Ещё бы — создал одно из первых частных технических предприятий новой России. Привалило небольшое богатство. В те годы, когда голодали десятки миллионов, обеспечил едой пару сотен работников. Давал деньги детским домам. Конечно, не забывал и свою семью. Настолько, что обеспечил и до сего дня.

Господи! С каким вежливым безразличием ты посмотрела на меня. Милая соседка. Какие ноги, а это выглядывающая грудь. Сдохни старый. Не гляди. Стыдно ведь. Но эта белая чистая кожа... над грудью. Может, ещё чашечку. Нет. Страшно. Надо беречь сердечко. Для чего???

И вот влез в американскую золотую клетку. Но барахтаться не перестал. Возомнил себя этаким Ушинским и стал рассказывать в русских школах всякие небывлицы естественно-научного характера. Семь лет рассказывал. Детям нравилось. Надоело. Просто за эти годы нахлынуло столько мыслей, воспоминаний, что заперся и ушел с головой в бумагомарательство. Удивительное дело, но русские газетёнки и толстые журналы от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, включая и Московскую область, печатали почти всё. Приобрёл известность. Небольшую, к сожалению. Но гордое тщеславие продолжало издеваться над сознанием. И вот апофеоз. За два последних года напряженнейшего труда, это точно так, создал и издал три большие книги. Они уже вышли.

Люди! Скажите мне — кто больше вам нужен? Мы с младшим сыном или философ. Честно признайтесь.

Старик вопрошающе оглянулся. Пришла дикая мысль. Вот прямо сейчас, здесь, встать и громко обратиться к этим сытым цивилизованным американцам. Старик даже привстал, вызвав вопрос рядом сидящего лохматого заросшего парня: — Вам помочь, сэр!

Это отрезвило и прошамкав: — ...спасибо... спасибо, — рухнул на стул. Господи! Двадцать лет живу среди вас. Так и не смог воспользоваться единственным талантом — умением весёлого общения. Упорный осёл!

Старик вышел на затенённую веранду, вынесенную на улицу. Уселся в глубокое кресло. Доносились голоса, смех, обрывки фраз. Властно наступало сладкое предчувствие дрёмы. И хотя глаза оставались

открытыми, но мозг цепенел, захватываемый сонными фантазмагориями.

— Ты пришел, мой старшенький. Спустился с пьедестала. Я ждал тебя. Кто это с тобой?

— Батяня! Твой редактор из нью-йоркского журнала „Слово“. Татьяна Кузовлева. Подожди! Я ведь и примчался сюда, чтобы организовать, устроить тебе праздник. Таня согласилась предоставить помещение. Выйдет специальный номер журнала. Приедут все твои близкие. Подожди два-три дня. Вот только слетаем в Сакраменто, возьмём интервью у губернатора. И обратно все вместе в Нью-Йорк. Подожди, батяня...

Старик „широко открыл глаза“. Такая любовь полыхала во взоре. Надежда! Исполнившаяся, наконец, мечта. Губы прошептали.

— Я ждал. Я так долго ждал...

P.S.

Как сообщает ваш корреспондент „The Press Democrat“ сегодня на углу Mehdocino Av. и Fifth Str. произошла катастрофа. Автомашина Dodge Caravan на бешеной скорости, потеряв управление, врезалась в угол веранды кафе Puerto Rican и буквально снесла строение. Погиб единственный посетитель, сидящей на веранде. Им оказался 84-летний господин. Русский по происхождению...

Леонид И. Рохлин (1937, Москва). Геологический институт, экспедиции, наука, диссертации. 5 лет работы в Монголии. С началом капитализма в России — успешный бизнесмен. С 1996 г. — в Сан-Франциско. Работал педагогом в русскоязычных школах. Автор многих публикаций и нескольких книг.

Елена Литинская

НЕЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

Роман

*Зачем себя томить и утруждать,
Зачем себе чрезмерного желать?
Что предначертано, то с нами будет.
Не меньше и не больше нам не взять.*

Омар Хайям

ВСТРЕЧА

Надо зайти в аптеку, в русский магазин, овощной... Куда-то ещё? Не помню. Может, потом вспомнится. А не вспомнится, значит, так тому и быть. Обойдётся. Господи, как мне все это надоело! Вечно в бегах! Абсолютно нет ни времени, ни сил побыть наедине с собой, расслабиться или, наоборот, сосредоточиться и подумать о том, зачем всё это. Я катастрофически быстро старею. Один день похож на другой, как вот эти близнецы в коляске, которую так бодро катит молоденькая мама. Неужели так будет всегда, до самого конца? Каким будет мой конец и когда он наступит, — мрачно думала Наташа, по-мужски размашисто, как настоящий заправский водила, паркуя машину на Брайтон-Бич авеню. Был седьмой час вечера. Она возвращалась домой с работы. Декабрьская ночь наплывала огромной тёмной волной, грозя вот-вот потопить судорожно барахтающийся в предрождественской суете город Бруклин.

Наташа осторожно глянула на себя в зеркальце. Так и есть. Её лицо было неприкрыто усталым и увядшим, как роза, подаренная на день рождения и отстоявшая в вазе свой срок. Крашенные в каштановый цвет волосы растрепались по ветру. Остатки помады на губах поблекли, тушь потекла с ресниц, образуя под глазами чёрные кляксы. Словом, весь разрушенный мейкап говорил о том, что женщина в зеркальце спешила домой после утомительного рабочего дня и не имела возможности да и, если откровенно,

желания замазать следы усталости на лице. В это время суток ей было абсолютно всё равно, как она выглядит. Лицо как лицо... Одно из толпы. Женщина за сорок. Есть в этом определении некая обречённость, связанная с фатальностью предложения „за“. Ну, а если его заменить на обтекаемую незавершенность предложения „под“? Ведь уже под пятьдесят. Нет, так ещё хуже. От слова „пятьдесят“ веет предпенсионностью и становится совсем уже тоскливо. Пусть будет „за сорок“, — думала Наташа.

Она снова и снова пристрасно всматривалась в свои черты. Натянуто, как перед фотокамерой, улыбалась знакомому отражению, говорила сама себе „cheese“, стараясь одолеть свой пессимистический настрой. Вообще-то, если закрыть глаза на развороченный мейкап, не так уж и плохо. Напротив, даже миловидна. Так, по крайней мере, говорили оценивающие взгляды ещё не старых мужчин на улице и в сабвее. Если очень захотеть, можно поиграть своими серо-голубыми с тёмным ободком, как у Мишель Морган, глазками. Надо только сменить фокусировку и направление взгляда с центробежного, направленного в себя и замкнуто-печального, на центростремительный, притворно оживлённый взгляд на окружающий мир. Придётся потренироваться.

У входа в сумбурно-безвкусно обустроенный, но, тем не менее, популярный своими ценами продовольственный „русский“ магазин „Золотой Ключик“ Наташа столкнулась с человеком, лицо которого ей показалось странно знакомым. Оно неожиданно вынырнуло откуда-то из давно затонувшего прошлого и никак не вписывалось в привычный брайтонский пейзаж. И вдруг догадка осенила её.

Неужели Игорь? — ошеломленно подумала Наташа. — *Боже мой! Не может быть!* — Ей даже больно стало от этой мысли, настолько она была нереальна

и абсурдна. И тут Наташа поймала себя на том, что она громко, не стыдясь, буквально орёт на весь Брайтон.

— Игорь! — закричала Наташа, опасаясь, что этот человек уйдёт и она его больше никогда не увидит. — Игорь! — Ноги вдруг стали ватными, голова закружилась. Чтобы не упасть, она ухватила рукой за дверной косяк магазина.

Мужчина, невероятно похожий на Игоря, разве что постаревший, с сединой в волосах, неохотно, даже несколько подозрительно оглянулся, лениво посмотрел на неё пустым взглядом, мол, кто тут меня зовёт? И вдруг как бы засуетился мыслями, закопался в памяти. Сначала улыбнулся несколько растерянной улыбкой и побледнел, потом покраснел от неожиданности. В его глазах засветилась радость узнавания.

— Наташа?! — пробормотал он. — Господи! Наташа! Наташенька! Не может быть! Сколько лет?!

— Двадцать! Уже двадцать лет! — сказала Наташа с особой, даже какой-то знаковой торжественностью.

Последний раз они виделись двадцать лет назад. Это была случайная, прямо-таки роковая встреча нос к носу в московском метро на переходе станции „Площадь революции“, встреча, после которой их пути снова разошлись, как тогда казалось, навсегда. Игорь быстро взбирался к вершине внешторговой карьеры. С гордостью от собственных семейных и карьерных достижений и почти холодным равнодушием к Наташе (ей так показалось) он рассказал о рождении второго ребёнка, дочери. Несмотря на остатки юношеского романтизма, Игорь по натуре был прагматиком. Продолжение романа с Наташей в то время становилось для него чересчур обременительным и рискованным. Оно могло даже оказаться опасным для карьеры и семейной жизни. Слишком серьёзно Наташа воспринимала тогда их отношения. Значит, пришло время эти отношения прервать! Чего это ему стоило, она не знала. В чужую душу, даже если она любимая, не залезешь. А если и удастся каким-то чудом туда проникнуть, то, возможно, найдёшь такое, что лучше бы и не пытаться. Одно расстройство.

После долгих болезненных раздумий Наташа всё это поняла и, не желая быть ему в тягость, с жертвенной мудростью отступила, решив раз и навсегда вычеркнуть Игоря из своей жизни. Клин клином вышибают. На счастье, подвернулся абсолютно не женатый Миша, добрейший, интеллигентный человек, к тому же, симпатичный и наполовину еврей — факт немаловажный для Наташиных родителей. Он приносил цветы, приглашал в театр, на концерты. Словом, упорно и красиво ухаживал и наконец сделал ей предложение. И Наташино разбитое сердце неожиданно быстро склеилось. На удивление себе самой, она сразу же согласилась. Вышла замуж. И вскоре они уехали в Америку. (Через несколько лет, уже в Америке, родилась Машенька.) Шёл 1979 год, самый „урожайный“ год эмиграции третьей волны. Наташа ничего не сказала Игорю о своем отъезде. Они даже не простились.

Так Наташа с Игорем оказались не только в разных полушариях, но и во враждебных мирах. Наташа вспоминала об их любви, как о прекрасном прошлом, которого не вернёшь. Вначале, по свежим следам расставания, вспоминала часто, потом всё реже и реже, а в последние годы почти совсем не думала о нём. И образ его, за давностью, потускнел, размылся как старый портрет, написанный гуашью, и вот уже казался почти стёртым и даже вымышленным.

Теперь же, двадцать лет спустя, как это бывает только в романах и в кино, они снова встретились в Америке, в самом центре русской эмиграции — на Брайтон-Бич. Похороненное прошлое неожиданно ожило и ворвалось в настоящее, соблазняя душу и тело новыми надеждами и искушениями. Наташа смотрела на Игоря, на его высокую плотную фигуру, слегка расплывшиеся, но всё ещё красивые черты: полные губы и тёмные бархатистые глаза, из-за которых она столько проплакала... смотрела и думала:

Вот она судьба! Наконец-то! Нет, теперь я его никому не отдам!

Они стояли у входа в магазин и глядели друг на друга в абсолютной растерянности, боясь лишним словом или жестом нарушить это удивительное мгновение, которое всё ещё длилось и обещало быть реальностью.

— Ну, что встали на дороге? Ни туда, ни сюда! — послышался недовольный южно-русский говорок. Голос принадлежал крупной женщине в норковой шубе с опушкой и кокетливым разрезом сбоку.

Ну куда ещё было надевать норковую шубу! В Метрополитен оперу ты же вряд ли ходишь. Не висеть же такой роскошной шубе всю зиму в шкафу, привлекая моль! — насмешливо пронеслось в Наташиной голове.

Наташа очнулась от оцепенения, развела руками, улыбнулась, выдохнула и, запинаясь, сказала:

— Б-брайтон есть Б-брайтон... Т-ты... как? Т-ы что здесь делаешь? В гостях или насовсем?

— Насовсем. Мы всего полгода назад приехали, — поспешно объяснил Игорь, введя безопасное слово „мы“, которое означало, что он здесь не один, а с семьей.

— Иммигрант, значит, как мы все? — не удержалась Наташа.

— Стало быть, так, как все.

— Неужели беженец? Убежал от родного режима в поисках приключений? — Не могла поверить она.

— Представь себе, беженец! А ты — такая же язва, как в шестом классе.

— Ну, что ты! Жизнь вывернула меня наизнанку. Я теперь добрая и мягкая, как воск. Лепи, что хочешь. Беженец, так беженец. Лишь бы тебе было удобнее, — одобрительно сказала она и, боясь спугнуть его своим неожиданным ехидством, быстро добавила:

— Ты спешишь?

— Я, вообще-то, еду из Манхэттена домой, — неуверенно начал Игорь. — Можно и не спешить. — И глаза его сверкнули знакомым озорным блеском, который Наташа помнила ещё со школьных времен.

— Здесь недалеко есть маленькое кафе, — предложила Наташа. — Давай зайдём. — И добавила, оценив содержимое кошелька нового иммигранта. — Я угощаю.

— ОК, — сказал Игорь. — Ты, как всегда, предусмотрительна.

— Да брось ты! Я надеюсь, что скоро настанет такое время, когда платить будешь ты.

— Эх, скорей бы!

— И оглянуться не успеешь. Поверь мне, иммигрантке со стажем.

Она облегчённо вздохнула. *Нет, он не собирается убежать так быстро домой.* И они медленно пошли в сторону Кони-Айленд авеню.

И сразу всё куда-то отодвинулось: заботы дня, аптека, овощной магазин, русский магазин... Конечно, ни в какие магазины Наташа не пошла. Усталость как рукой сняло. Она почувствовала, как раскраснелась, её походка вдруг стала легкой. Наташа вся светила, как последняя утренняя звезда перед рассветом. И ей вдруг показалось, что она не сорокапятилетняя отцветающая женщина, а молодая ведьма, этакая Маргарита. Дай только метлу, и она без усилий взлетит над городом. Судьба подарила Наташе редкостный второй шанс, второе счастье, и всё начинается сначала.

Зима в этом году в Нью-Йорке выдалась холодная. Выпало много снега. Вот и в этот вечер снежинки кружились в воздухе и мягко падали на землю, деревья и крыши домов. Погода была прямо-таки московская, как тогда, тридцать лет назад...

Было два часа ночи. Метро уже не работало. Наташа с Игорем, запорошённые снегом, медленно шли домой на Пресненские пруды после встречи Нового года в Колонном зале Дома союзов. Отец Игоря, крупный советский чиновник, подарил сыну два билета на ёлку, и Игорь пригласил Наташу. Встреча Нового года в Колонном зале была шумной. Народ тусовался разношёрстный: студенты, молодые офицеры, курсанты Суворовского училища, ярко накрашенные девицы, влюбленные парочки, случайно попавшие на лишний билетик одиночки, коренные москвичи и гости столицы.

Они танцевали, ели в буфете бутерброды с икрой и пирожные, потом опять танцевали и быстро устали от сутолоки и суеты. Им захотелось побыть наедине. Они рано покинули Колонный зал, можно сказать, в самом разгаре веселья и пошли домой пешком. Долго брели по заснеженной Москве через Арбат до Пресни и по дороге зашли в какой-то незнакомый подъезд погреться. В те времена подъезды ещё не запирались на кодовые замки.

Они любили друг друга с шестого класса, наперекор Наташиным завистливым подругам, не раз пытавшимся их поссорить.

— Неужели он тебе нравится? Он же примитив! Он же ничего не читал, кроме „Графа Монте-Кристо“ и „Трёх мушкетеров“, — насмешливо восклицала Тамара, высокая девочка с длинной косой и крупным носом, отличница и авторитет. — Уж лучше дружи с Петенькой. Он хоть и маленького роста, зато умный.

И Наташа пыталась дружить с Петенькой, Вовочкой и некоторыми другими, но всегда возвращалась к Игорю. Он с покорной готовностью окружал её своей любовью, и всё начиналось сызнова. Они ходили вместе в Краснопресненский парк кататься на лодке, ездили в Измайлово и на Ленинские горы, после школы делали вместе уроки, писали друг другу любовные записки, держались за руки, танцевали на школьных вечерах, но так и не решались поцеловаться. Эпоха была другая. К тому же, они оба были настолько чисты и целомудренны, что поцелуй казался им желанным, но пока запретным плодом. Сколько раз ей хотелось сесть к Игорю на колени, обвить его шею руками и прижаться губами к его губам... Но она не решалась, откладывая первый поцелуй на завтра, до более удобного случая. Ей казалось, что Игорь никуда от неё не денется и у них вся жизнь впереди. Игорь был абсолютно и бесповоротно её, Наташиной, собственностью, влюблённый, надёжный и даже немного смешной своей влюбленностью и постоянством. Наташа по молодости и самоуверенности не понимала, что ничто не вечно в этом мире и никогда нельзя откладывать любовные и, вообще, душевные порывы на завтра. Ну и поплатилась.

И вот в Новогоднюю ночь долгожданная возможность наконец представилась. Чужой полутёмный подъезд казался необитаемым островом для двоих. Влюбленные подростки, они стояли близко-близко друг к другу. Она решительно сняла перчатки, заледеневшими пальцами расстегнула шубку и в блаженном ожидании закрыла глаза. Игорь наклонился к ней, взял её руки в свои и тёплым дыханием стал отогревать ей пальцы. Потом она почувствовала его дыхание на своих губах.

Ну, поцелуй же меня! Что же ты медлишь? — подумала она, но сказать не посмела.

Губы Игоря робко прикоснулись к Наташиным губам... И в этот миг дверь скрипнула, и в подъезд кто-то вошел, нарушая обыденностью вторжения их решительно-романтический настрой. Наташа испуганно открыла глаза, Игорь отпрянул в растерянности. Момент был упущен. Целоваться больше не хотелось. Нет, не то. Целоваться все равно хотелось, но решительность исчезла. Кто-то из них должен был сделать первый шаг ко второй попытке, но ни он, ни она не смели. Их словно парализовало. Прошло несколько минут, которые показались Наташе вечностью. *Всё, всё, всё!* — грустно подумала она. — *Кончено!*

Смущённые и печальные, они быстро покинули чужой подъезд и молча разошлись по домам. Всю оставшуюся зиму и весну они избегали друг друга, почти не разговаривали, страшась повторить неудавшуюся попытку первого поцелуя. Потом сдали экзамены за восьмой класс. Наступило лето. Игорь написал Наташе письмо, полное отчаяния и клятв не забыть её никогда. Она, сидя на даче, долго размышляла над его письмом с вольными знаками препинания и грамматическими ошибками, вздыхала, плакала, наконец, написала ответ, но так и не бросила его в почтовый ящик. *Вот приеду осенью в Москву, позвоню Игорьку. Мы поговорим, и всё образуется,* — думала Наташа.

Но осенью пути их окончательно разошлись. Семья Никитиных получила новую, огромную по тем временам квартиру в другом районе. Наташа поступила в новую школу, где страстно отдалась русской литературе. Игорь тоже сменил школу и неожиданно для Наташи и самого себя заново влюбился. Нина оказалась настойчивее и смелее Наташи. Из другого конца Москвы доходили слухи о его новом увлечении, но Наташа так и не смогла поверить в то, что это серьёзно. Не звонила ему, не беспокоила... А когда поверила — было поздно. Он не поздравил Наташу с днём рождения. Явно избегал встреч. Как-то быстро исчез. Потом, через пару лет Наташа узнала, что сразу же после окончания школы Нина с Игорем поженились и у них родился сын Андрейка. Наташин верный паж Игорёк совершенно неожиданно стал чужим мужем и впридачу отцом семейства. Надо было с этим фактом как-то смириться и жить дальше... Ну она и смирилась. На время.

Маленькое кафе по причине пятницы было забито разношёрстной брайтонской публикой, в которой Наташа с Игорем благополучно растворились. Они заказали какие-то псевдо-французские блюда и бутылку сухого вина. Музыканты играли модные, привезённые из России полублатные песни. Полноватый певец с огромным крестом на волосатой груди исполнял их громко и с надрывом. Сочетание креста и блатного шансона тогда тоже входило в моду. Лишнее наступило время.

Наташе с Игорем было много о чём рассказать другу. За двадцать лет столько воды утекло. Рассказать всё было абсолютно невозможно, но хотелось, чтобы этот вечер вместил в себя как можно больше. Они наперебой задавали друг другу вопросы и охотно и долго отвечали на них.

— Я готова была кого угодно встретить здесь, только не тебя, — начала она. — Ты — русский, член партии, на вершине внешнеторговой карьеры... в нашу еврейско-иммигрантскую братию явно не вписываешься.

Игорь слабо улыбнулся.

— Вписался. Да, русский, бывший член партии, давно выбросивший партбилет. А жена моя, если помнишь, скрытая еврейка, полукровка. У меня всегда была слабость к еврейским женщинам, — добавил он, многозначительно улыбувшись. — Если партийные бонзы вкладывают деньги в заграничные банки и бегут — спасайся, кто может — значит, пришло время и нам, рядовым коммунистам, выбросить партбилеты и перекавалифицироваться, нет, не в управдомы, а в капиталисты. Так я и сделал. Занялся бизнесом, благо образование и опыт позволяли. Сначала все шло неплохо, а потом бизнес пришлось оставить. С одной стороны, государство давило налогами. С другой, — слишком близко ко мне подползала чеченская мафия. И тем и другим надо было отстёгивать. Прибыли почти не оставалось. Терялся смысл бизнеса. Да и опасно становилось. Надо было спасать семью и свою шкуру. У Нины моей здесь, в Бруклине, уже много лет живёт сестра. Ну, мы и рванули сюда, как говорится, для воссоединения семьи. Ха-ха-ха! Ну а ты? Как ты прожила

эти двадцать лет? — И добавил мягко и немного даже собственнически. — Как тебе жилось без меня, моя Наташенька?

— Поздновато ты вспомнил, что я твоя. Без тебя мне просто жилось. Как? Наверное, нормально. Нет, не то слово. Спокойно, хорошо, без больших тревог, ухабов, взлетов и падений. Ну, а ты обо мне думал, вспоминал? Только честно.

— Не только вспоминал, но много думал и несколько раз звонил и вёл долгие разговоры с твоей мамой, пока она мне не призналась, что ты вышла замуж и уехала за границу. Ну, я перестал звонить. А разве она тебе ничего не писала?

— Нет. Она, наверное, не хотела меня тревожить тобой. Боялась нарушить мой покой, мою „сладкую“ американскую жизнь.

— Тонкая женщина, твоя мама. Где она сейчас?

— В московском крематории.

— О Господи! Не знал, прости.

— Когда-то давно простила раз и навсегда. Знаешь, моя судьба сложилась совсем не так, как я когда-то мечтала. Но роптать грех. Не ропщу. Ты, наверное, помнишь: я когда-то писала стихи, занималась художественным переводом, хотела взобраться на литературный Олимп... Словом, Олимп не состоялся. Богиня оказалась простой смертной. Стихи пишу редко и в стол. Перекавалифицировалась. Работаю программистом, зарабатываю деньги и немалые. После того, как мы разошлись тогда, двадцать лет назад, я быстренько выскочила замуж за первого попавшегося претендента. Красиво ухаживал, помог не заикливаться на разрыве с тобой. Случайно оказался прекрасным человеком и надёжным мужем. Его зовут Миша Литвинов. Он работает инженером в местном муниципалитете. Да, я теперь не Лещинская, а Литвинова. Тоже на Л. Мы здесь уже двадцать лет. Нашей дочке Машеньке недавно исполнилось восемнадцать. Она в Америке родилась. По-русски говорит и даже грамотно. Моя школа... — Тут Наташа запнулась и замолчала. О своей семье ей больше говорить не хотелось. — Ну, а как твои? Нина и дети?

— А моему Андрею уже двадцать пять, а Ирочке двадцать. И вообще, я уже два года, как стал дедом. Представляешь?

— Вот это да! Дедушка Игорь. Как-то в голове не укладывается. Всё равно, поздравляю! И что же вы... все вместе сюда приехали?

— Да, приехали всем табором. Так табором и живём: я, Нина, Ирочка, Андрейка с женой Людмилой и внук Данилка. Вместе тесно, врозь скучно.

— Бедный ты мой! — участливо сказала Наташа. — Туго тебе приходится. Я начало иммиграции вспоминаю, как кошмарный сон.

— Ничего, как-нибудь прорвёмся! — с деланной бодростью сказал Игорь. — Давай лучше выпьем за нашу встречу!

И они пили за встречу, за далёкую юность, за вечную первую любовь и за Его Величество случай, который их снова свёл, кто знает, на радость или на горе. Пышнотелый певец, закончив хрипеть полублатные песни, вдруг затянул приятным голосом что-то нежно-лирическое, и Игорь потащил Наташу танцевать. Они танцевали какой-то странный танец. Почти не передвигая ног, стояли обнявшись, стараясь руками, губами и телом ощутить руки, губы и тело партнёра и как бы раствориться в этом другом теле, чтобы больше уже не разлучаться. Было почти два часа ночи, когда Игорь вдруг спохватился, что не позвонил домой и Нина, наверное, в истерике.

— А мне и позвонить-то некому, — горько сказала Наташа. — Дочь вечно с друзьями где-то болтается, тусуется, как теперь говорит молодёжь. Её никогда нет дома. Муж в больнице после микроинфаркта. (Пока что микро...) Впрочем, я должна была ему позвонить в больницу. Он, наверное, ждал меня весь вечер. Как же это я? О Боже! Затмение какое-то нашло. Это все ты. Сбил меня с пути истинного.

Игорь хотел что-то сказать, но передумал и закашлялся. Наташа заплатила по счёту. Когда она доставала кредитку, Игорь отвернулся. Видимо, ему было не очень приятно, что за ужин расплачивается женщина. Бывший сотрудник Внешторга, у которого всегда водились деньги... да и женщины, он к этому не привык. Они вышли на улицу, и Наташа отвезла его домой. Как тесен мир! Оказалось, что Игорь живёт в одном доме с Наташиным отцом и мачехой. Они обменялись телефонами и ещё долго сидели в машине. Обнимались и целовались, как влюблённые подростки.

В ТУПИКЕ

Наташа приехала домой на рассвете и в гостиной с удивлением обнаружила дочь Машу, которая спала, не раздеваясь, на диване. Наташа зажгла свет, Маша тут же вскочила и с выпученными глазами набросилась на мать.

— Сколько сейчас времени? Где ты была?

— Сейчас четыре часа утра, — ответила Наташа, игнорируя второй вопрос дочери.

— Четыре утра! — в ужасе воскликнула Маша. — И ты в четыре утра являешься домой! Как ты можешь? Ты предательница! Папа звонил из больницы. Он спрашивал, где ты и почему не пришла его проведать. Где ты была?

— А это, доченька, не твоё дело! — раздражённо ответила Наташа и пошла наверх в спальню, лихо-радочно соображая, что сказать в своё оправдание. Заспанная Маша всё же упрямо поплелась за ней наверх, продолжая наступление.

— Это моё дело. Ты моя мама. Я ждала тебя, я беспокоилась, я долго не могла уснуть.

— Ну, что же, значит, мы поменялись ролями для разнообразия, — жёстко добавила Наташа и закрыла дверь спальни перед носом дочери.

Зачем я так грубо ответила ей? — подумала Наташа. — *Бедная девочка беспокоилась обо мне, а я ей ни за что, ни про что нагрубила. Я не только плохая жена, но ещё и никудышная мать.*

В смятении она долго лежала на кровати с открытыми глазами. Сердце учащённо билось, лицо горело. Приняла снотворное. Не помогло. Сон не приходил. В голове крутились кинолентой события минувшей ночи.

— Господи! — молилась она, как умела, ибо никакой религии не придерживалась, — помоги мне! Что делать? Что же мне делать? — В который раз спрашивала она себя и сама же себе мысленно отвечала: *А ничего! Просто плыть по течению. Авось, к какому-нибудь берегу да прибьёт.* — *Не хочу к какому-нибудь берегу. Хочу к правильному берегу,* — упрямылась Наташа. — *А это уж, как карта ляжет,* — ехидничал внутренний голос.

Наташа поняла, что подобный диалог никуда не приведёт и не принесёт ей желанного откровения

и, успокоенная этим, тотчас же провалилась в тяжёлый сон, как в пропасть.

Проснулась она лишь в полдень, отдохнувшая, обновлённая, улыбающаяся. Ей приснилось, что новогодняя ночь тридцать лет назад всё-таки завершилась первым поцелуем.

На кухне Наташу поджидала свеженакрашенная, одетая на выход, присмирившая Маша, которая, хоть и подозрительно косилась на мать, больше ни о чём не спрашивала. Дочь молча поставила на плиту кофеварку, надела наушники и притворилась погружённой в мир музыки, мол, я больше не собираюсь докучать тебе и лезть в твои дела. Кофе они варили крепкий, по-старому, по-московски, не то, что американцы: булькает, булькает — весь аромат испаряется. Чувствуя свою вину перед дочерью, Наташа чмокнула Машу в благоухающую шампунем макушку и быстрым жестом взъерошила её длинные волнистые волосы.

— Сейчас только кофе выпью и поедем к папе. Собирайся!

Маша тут же высвободилась из тесного кольца наушников и живо отреагировала на Наташин призыв.

— ОК! Только я поведу машину. Ладно? Ну, пожалуйста!

— Хорошо! Хорошо! Ты поведёшь, — отмахнулась Наташа. Дочь только недавно получила водительские права и была готова развозить семью, друзей и родственников в любые концы, только бы ей дали порулить.

В больнице, при виде бескровно-серого, небритого лица мужа, у Наташи защемило сердце. Она казалась себе отвратительной грешницей, достойной всяческого презрения и порицания.

— Наташенька! Девочка моя пришла. Где ты была вчера, гулёна? Я так ждал тебя.

— Я была... в ресторане с... сотрудниками, — не моргнув глазом, солгала Наташа. — Понимаешь, давно обещала отвести их в русский ресторан. Мы немного посидели в кафе. Мне, мне... нужно было отвлечься. Я устала. Ты ведь у меня уже на поправку пошёл, правда? Я было собралась тебе позвонить, но как-то припроднилась.

— Конечно, конечно, детка. Иду на полную поправку. Я понимаю, ты очень устала. И тут ещё муж,

непутёвый пьяница... с сердечным приступом свалился на твою голову, — подыграл Наташе Михаил. — Ну и как? Понравилось твоим американцам в русском кафе?

— Очень! Экзотика! Хотят ещё раз туда пойти. Наташе было противно продолжать лгать, и она быстро сменила тему:

— Когда тебя выписывают?

— Не знаю. Какой-то стресс-тест ещё хотят делать и повторный анализ крови.

Наташа взяла мужа за руку, избегая смотреть ему в глаза, опустила голову.

Бедный ты мой! — Подумала она. — *Лежишь здесь себе и не подозреваешь, что твоя жена вчера полночи целовалась с другим, как влюблённая пятнадцатилетняя девчонка.*

А Наташин муж вовсе не был таким доверчивым, каким хотел казаться. Миша прекрасно понимал, что его жена ещё нуждалась в развлечениях или отвлечении, которые он, человек немолодой и нездоровый, не в силах был ей дать и разделить с ней и поэтому не мучил её подозрениями и упрёками.

— Хорошо, что ты проветрилась, девочка моя, а то со мной можно вконец закиснуть. Пофлиртуй немного. Тебе это полезно, — рассудил он вслух полушутя.

— Флирт? Какие глупости! Что ты такое говоришь? Откуда ты это взял?

— Ну-ну. Это я так... к слову.

У Наташи было тяжело на душе. В Мише она нашла спасение, тихую заводь, покой, благополучие и впоследствии — даже любовь. За двадцать лет жизни с мужем она не только ни разу не изменила ему, но даже как-то не обращала внимания на окружающих мужчин. Другие мужчины для неё просто перестали существовать. Правда, в последние годы она была сама не своя, часто впадала в депрессию. Всё чаще случались бессонные ночи, после которых надо было, напившись кофе, бежать на работу и выглядеть свежей и отдохнувшей, чтобы никто не заметил следов переживаний и мешков под глазами. Ей казалось, что жизнь прожита впустую. Литератора из неё не вышло. К программированию она была равнодушна, хотя много и упорно работала и за долгие годы стала хорошим программистом. Дочь Маша, которую она берегла, как зеницу ока, раньше особых

хлопот родителям не доставляла. В пятнадцать лет Маша вдруг стала плохо учиться, дерзить и поздно приходить домой. Она завела дружбу с какими-то подростками, которые не отличались особым интеллектом и, кроме английского мата, другого языка не употребляли.

Миша стал часто болеть. Прихватывало сердце, да и с почками было не всё в порядке. Вместо того, чтобы лечиться и вести здоровый образ жизни, Миша пристрастился к алкоголю. Наступил так называемый кризис среднего возраста, когда мужчина вдруг осознает, что большая и лучшая часть жизни прожита и остается лишь медленное или быстрое (кому как повезёт) угасание. Всех пьяниц можно поделить на злых и добреньких. Наташе повезло. Миша оказался добреньким пьяницей. Напившись, он не терял человеческий облик, не ругался и не лез в драку. Наоборот, он становился без причины весёлым, глупо улыбался, и его тянуло на секс. Наташе пьяный муж был неприятен. Она кричала, обзывала Мишу пьяным дураком и гнала его спать. На трезвую голову муж, как правило, любовных попыток не возобновлял. Таким образом, супружеская страсть быстро угасала, и сексуальная сторона брака сначала отошла на задний план, а потом вовсе или почти совсем перестала существовать. Дом у них был большой, комнат много, и они предпочитали спать в разных спальнях, чтобы не беспокоить друг друга. Наташе иногда еще хотелось почувствовать себя женщиной, а Миша постоянно жаловался на усталость и любовным утехам явно предпочитал бутылку коньяка, пачку хороших сигарет и телевизор. Так они и жили, как живут многие супружеские пары их возраста, пока на горизонте не появился Игорь. Наташа не умела жить двойной жизнью. Встреча с Игорем разбередила в ней старое чувство. Она снова ощутила себя молодой, красивой и желанной. Игорь был тем единственным для нее мужчиной, которого она могла любить вне времени и пространства, словом, всегда. А Миша... добрый, хороший, родной Миша, с которым прожито столько лет! Конечно, она его тоже любила. Может, какой-то другой любовью, без страсти, скорее, жалела... но, всё равно, никогда, никогда бы не оставила. И тут Наташа поняла печальную или радостную истину, которая до сих пор была вне её разума. Жизнь

так устроена, что можно одновременно любить двоих, и в этом ничего странного и необычного нет. Да, да! В этом ничего необычного нет. Ведь тогда, много лет назад, Игорь любил их обеих, Нину и её, Наташу. По-разному любил, но всё же любил. О, как хорошо она его теперь понимала!

Не привыкшая лгать, Наташа страдала от сложившейся ситуации. Она почувствовала себя в тупике, из которого не видела выхода. Опасаясь лишним словом или взглядом выдать свои тайные мысли, она начала глазеть по сторонам. Мишиным соседом по палате был пожилой ортодоксальный еврей в ермолке. Каждый раз, когда Наташа приходила навестить мужа, она заставляла одну и ту же картину. Мишин сосед полулежал на взбитых подушках, уткнувшись в какую-то книгу на иврите. Может, Торру, может, какой-либо том Талмуда. Наташа не была сильна в этих вопросах. Он был благообразно невозмутим в своей сосредоточенной неподвижности, весь в себе и книге. Окружающий мир, казалось, не волновал его, хотя этот мир включал также трёх женщин, из которых, как Наташе объяснила медсестра, были его жена, сестра и старшая дочь. Эти женщины в чёрном, безликие и преданные своему мужу-брату-отцу, часами сидели на стульях вокруг кровати, такие же неподвижные, как их повелитель. Три статуи, символизирующие покорность мужу и Всевышнему.

Наташа мысленно улыбнулась, сравнивая себя с этими женщинами. Насколько разными были они в реакции на одну и ту же ситуацию: муж в больнице. Да, сравнение, надо сказать, было не в Наташину пользу. Три „статуи“ служили ей живым укором, и Наташа, чтобы избавиться от них, быстренько покормила мужа апельсином и буквально вылетела из больницы, сославшись на занятость и головную боль. Не понимая, что происходит, Маша, которая вдруг стала снова послушной дочерью, побежала вслед за ней. Они молча сели в машину и поехали домой. Маша рулила и задавала вопросы:

— Почему мы так быстро уехали? Мама, что с тобой происходит? Ты сегодня сама не своя.

— Я не знаю... Я вдруг плохо себя почувствовала. Голова разболелась. Приду домой, померю температуру. Мне как-то не по себе.

— Это ты, наверное, вчера в ресторане отравилась или простудилась, — резонно рассудила Маша, и, оставив мать в покое, ушла в свои мысли, в свой мир. Всё сразу встало на свои места.

В шесть часов вечера позвонил Игорь. Хорошо, что Маша к тому времени упорхнула из дома в ресторан на очередную свадьбу своих друзей.

— Это я. Ты говорить можешь?

— Могу. Что случилось?

— Ничего. Просто я ужасно хочу тебя видеть. Дома суший ад. Нина в очередной раз поссорилась с Люсей, Андрюшкиной женой. Они обе как с цепи сорвались, и унять их нет никакой возможности. Ну не могут поделить Андрея — и всё тут. Я вышел на улицу, чтобы не слышать женского визга. Звоню по мобильнику. Что ты делаешь?

— Пытаюсь заниматься хозяйством. Посуду мою, стираю, убираю дом.

— А ты бы не могла все это хозяйство, скажем так, на пару часиков оставить?

— Ну да, могу, в общем... — не очень решительно промямлила Наташа.

— Давай смотаемся куда-нибудь, а?

— Ну, раз ты так хочешь, давай смотаемся. А ты где? Я сейчас за тобой приеду, — решила Наташа.

Игорь объяснил, где он находится. Наскоро одевшись и не слишком тщательно наведя марафет на лице, оставив грязную посуду в посудомоечной машине и грязное бельё — в стиральной, Наташа выскочила на улицу. Она так спешила, что даже поехала на красный свет.

Только бы не попасть в аварию, — подумала она.

Судьба была к Наташе за последние сутки чрезвычайно милостива. В аварию она не попала и благополучно доехала до перекрестка, на котором её ждал Игорь. Он быстро сел в машину, и они поехали в сторону Манхэттен-Бич, где зимой было меньше шансов встретить родственников или знакомых.

— Куда едем? — спросил Игорь, скорее так, для порядка.

— Не знаю. В музей, снова в ресторан... ну, или ко мне домой?

— Поехали к тебе, — расхрабрился Игорь. И тут же добавил. — А твоя дочка, она сейчас, дома?

— Машка уже ускакала. Она сегодня приглашена на какую-то свадьбу. Явится, наверное, под утро.

— Значит, к тебе, — уточнил Игорь.

У Наташи дрожали руки, когда она вела машину. И даже как-то дрожало внутри. Сердце учащённо билось. Это внешне она была такая храбрая обманщица, а душа её, испуганная от неожиданно решительных поступков, по-страусиному спрятала голову в песок.

У них был красивый современный дом, с большим задним двором и бассейном. Этот дом они с Мишей купили десять лет назад и уже почти выплатили. Сюда не стыдно было пригласить гостей. Наташа поймала себя на том, что с гордостью стала показывать свой дом Игорю. Как бы бессознательно она хотела доказать ему, что за прошедшие двадцать лет многого добилась. Что, если бы тогда он развёлся с женой и женился на ней, у него тоже был бы такой дом и ему не пришлось бы в сорок пять лет начинать жизнь сначала в чужой стране и ютиться вшестером в крохотной квартирке. Понимая, что столь не благородные, хотя и тайные, размышления ей явно чести не делали, она резко замолчала, прервав экскурсию по дому, и покраснела.

Игорь понял ход её мыслей, грустно улыбнулся и сказал:

— Это всё прекрасно... Но я пришёл сюда не смотреть на твой дом, Натали. Хотя сам не знаю, зачем я в гости к тебе напросился.

Он назвал её школьным именем „Натали“, и она вдруг заплакала. Не стало больше преуспевающей деловой женщины, владелицы красивого дома и дорогого автомобиля. Перед ним была прежняя Натали, которая по первому его зову бросала очередного поклонника и поздно ночью мчалась на такси на другой конец Москвы, хоть на край света, чтобы только его, Игоря, увидеть.

НАЧАЛО

Роман начался по-новой, когда Наташе с Игорем было двадцать лет. Они встретились на вечеринке, которую устроила их бывшая одноклассница Тамара. Та самая Тамара, которая из зависти или вредности характера старалась подпортить их школьный роман. Но теперь ситуация изменилась. Игорь

был благополучно женат, и опасность возобновления юношеской любви казалась маловероятной. (Как же Тамара ошиблась!) На вечеринку Игорь явился с женой, Наташа — одна.

— Наташа, это Нина, моя жена.

— Нина, это Наташа, моя первая любовь. Я тебе о ней рассказывал, — храбро представил их другу другу Игорь.

Он назвал меня первой любовью, — подумала Наташа. — Значит, не забыл, к тому же, не стал трусом.

Нет, он не забыл. Он как-то вдруг все вспомнил. Катание на лодке, Ленинские горы и Новогоднюю ночь. Они стояли рядом, две молодые женщины, с которыми была связана его жизнь. Нина — высокая красивая брюнетка, располневшая после родов — спокойно смотрела на него, как на свою собственность. Наташа была меньше ростом и тоньше, не так красива, скорее миловидна. Но что-то, видимо, было в ней, чего ему не хватало в Нине. Может, в Наташиных грустных серо-голубых глазах и во всём облике была какая-то тайна, которую он, Игорь, не сумел разгадать, и которая с новой силой влекла его теперь.

— Вот гитара! Спой нам что-нибудь из своих песен, Натали, — сказала хозяйка дома, и все гости дружно подхватили:

— Спой, спой, Натали!

Наташа не заставила себя долго упрашивать, взяла в руки гитару и тихим голосом запела:

Ты где-то бродишь в ночи
В поисках нового рая.
А здесь огарком свечи
Моя любовь догорит...

Наташа пела, ни к кому не обращаясь, устремив взгляд куда-то в пустоту, но песня её была адресована Игорю. Это он „бродил в ночи в поисках нового рая“. Все присутствующие так и поняли. Ну, поняли — и прекрасно. Наташе нечего было стыдиться: ведь Игорь, по праву, должен был принадлежать ей, а не этой самоуверенной, ординарной домашней хозяйке... Обуреваемая ревностью и обидой, Наташа тщетно искала определение сущности Нины и её имиджа, но мысли её путались, и кроме примитивно-обидного „домашняя хозяйка“, она так ничего и не

придумала. Но ведь Игорь женился на этой — Наташа все же, ради справедливости, добавила — красивой домашней хозяйке. И у них есть сын. Углубляться в столь печальные для неё размышления не хотелось.

— Уж лучше попою дальше, — благоразумно рассудила Наташа.

Очарование песни в Наташином исполнении сделало своё дело. Игорь был ещё очень молод, по сути, мальчишка, и не готов к свалившейся на него роли мужа и отца. Уставший от маленького ребенка, вечных пелёнок и бессонных ночей, Игорь второй раз влюбился в Наташу (нет, скорее, увлёкся ею), и они стали тайно встречаться.

Встречались они нечасто и как-то сумбурно. Обычно он звонил ей поздно вечером, когда Нина и Андрейка были на даче или у родителей, или ещё где-нибудь. И Наташа, не спрашивая ни о чём, летела, как на крыльях, на место встречи. Однажды в ночь на Первое мая они поехали на такси в Останкино и долго целовались на лавочке у Останкинской башни, как бы стараясь наверстать упущенное, а потом до утра катались на поливочной машине, которая мыла город к празднику. Игорь попросил водителя дать прокатиться, и тот, проникшись симпатией к молодой парочке, добродушно согласился. Неистощимый на выдумки, Игорь каждый раз придумывал для встреч с Наташей новые романтические обстоятельства, которых ему в семейной жизни недоставало.

После ночи в Останкино Игорь признался Наташе, что завалил летнюю сессию в институте. Впоследствии, по настоянию отца, он поступил в закрытую военную школу, которая должна была завершить его образование и вылепить мужественный характер. Из военной школы Игорь писал Наташе полные отчаяния, ностальгические письма, и она отвечала ему в стихах:

У пустого ящика немею.
Он зияет кошельком бедняка.
Драгоценную жду ахинею,
Что напишет твоя рука...

Первую любовную ночь они провели в Игоревой квартире. Жена и сын были на даче. Стоял тёплый июньский вечер. Перед подъездом дома на лавочке

сидели несколько старушек-сплетниц — неизменный атрибут всех московских домов и подъездов. В целях конспирации влюблённые шли к дому по-одному: первой она, за ней — он. Подойдя к старушкам, Наташа отвернулась и быстро направилась к подъезду. Игорь, вместо того, чтобы последовать за ней, приостановился, широко улыбнулся и обратился к местным сплетницам с громким приветствием:

— Здорово, бабули! Отличная нынче погодка выдалась!

— Здравствуй, сынок! — хором ответили старушки, потрясённые его вежливостью.

Наташа не смогла удержаться и от души рассмеялась.

— Зачем ты с ними поздоровался? — спросила она его потом.

— Ты не понимаешь! Хорошие отношения с местным „отделом кадров“ всегда пригодятся.

Наташе понравилось его образное сравнение местных сплетниц с отделом кадров. Ещё со школьных времен Игорь выделялся среди одноклассников находчивостью, изобретательностью и чувством юмора. Наташа помнила, как однажды его за какую-то провинность поставили в угол. Стоять в углу было попросту скучно. В то время, как учитель что-то долго и нудно объяснял, стоя лицом к классу, Игорь за его спиной коротал наказание, медленно передвигаясь из одного угла в другой и обратно. Класс безмолвно ликовал.

Будучи студенткой филфака МГУ, Наташа почему-то терпеть не могла своих сокурсников мужского пола, считая их всех занудами, извращенцами и литературными ничтожествами. Её гораздо больше привлекали так называемые „технари“ типа Игоря, который был не слишком начитан, но зато остроумен и полон неиссякаемой энергии. Склонная к меланхолии, хрупкая, Наташа тянулась к Игорю, к его сильному, крепкому телу и к его неунывающей, жизнерадостной душе. Они были полярны, и от этого их ещё больше влекло друг к другу.

До вновь возникшего романа с Игорем у Наташи был короткий роман с одним музыкантом, студентом института имени Гнесиных. Кроме потери девственности и удовлетворения любопытства, этот роман ей ничего не дал. Она продолжала оставаться

неискушённой в любви, и миг любовного блаженства всё ещё был для нее загадкой. Любовно и бережно учил её Игорь этому искусству. Подчиняясь его умению и такту, она отдавалась ему безотказно, позволяя делать со своим телом всё, что он хотел, и очень скоро научилась испытывать блаженство, о котором читала в книгах.

— Ты создана для любви, — говорил Игорь. — Если бы я только знал, что ты такая сладкая... — Тут он обычно умолкал и ни разу так и не договорил этой своей фразы. Потом он исчезал на долгие месяцы и вдруг опять появлялся, когда она, приобретя нового друга, в очередной раз пыталась Игоря забыть.

Прошло несколько лет. Игорь вступил в партию. Отец устроил его на работу в Академию внешней торговли. Игорь часто уезжал в заграничные командировки, приобрёл внешторговский лоск и был явно доволен своей жизнью. Наташа покорно страдала. Иногда, взбунтовавшись, она умоляла его покончить с ложью и развестись с женой. Наивная, она тогда не понимала, что такие, как Игорь, не разводятся. К тому же, он по-своему любил свою дородную Нишу и души не чаял в сыне Андрейке.

Наташа к тому времени окончила МГУ. На постоянную работу по причине „лятого пункта“ её не брали, и ей приходилось преподавать английский студентам журфака на Межфакультетской кафедре за униженно мизерную плату — один рубль в час. Она продолжала писать стихи и много работала над поэтическими переводами, из которых ей кое-что удалось опубликовать. Все её подружки повыходили замуж, некоторые завели детей, а Наташа по-прежнему жила вместе с родителями. Её мать, Надежда Александровна, бывшая в молодости красавицей, рано увяла и после сорока лет много болела. Отец Наташи, Григорий Ефимович, работал начальником конструкторского бюро. Человек он был общительный, с большим чувством юмора, обожал свою жену и дочь и уделял много времени семье. Несмотря на постоянную занятость, он как-то всегда находил время для других женщин, которые любили его за приятную внешность, лёгкий характер и весёлый нрав. Лещинские принадлежали к среднему слою советской интеллигенции, которая по тем временам жила неплохо, но высоких связей не имела. Поэтому

Наташины родители не могли устроить её преподавателем на штатную работу в МГУ или в какой-нибудь другой вуз. Для преодоления „пятого пункта“ требовались сверхвысокие знакомства. Работать в школе или библиотеке Наташа, выпускница МГУ, не хотела. В двадцать пять лет она продолжала жить в мире причудливых фантазий и песен под гитару. Она написала песню о своей любви к Игорю, которую часто исполняла на вечеринках у друзей. Игорь этой песни так и не услышал.

Холодных слов стальную бронь,
Беспомощную ложь,
Забудь! Дай мне в твою ладонь
Упрятать пальцев дрожь...

ЛЮБОВЬ

— Я люблю тебя, Натали!
— Я тебя тоже.
— Я люблю тебя, как в школе. Больше, чем в школе. Я боготворю тебя!
— Говори, говори! — выдохнула Наташа.
— Знаешь, я так одинок и никому, абсолютно никому в этой хваленной, долбаной Америке не нужен. Вроде не дурак, говорю худо-бедно по-английски, немолод уже, но ещё и не стар. Голова работает, сила в руках есть, но чувствую себя абсолютно парализованным и никчёмным. Не знаю, что делать со своей „распрекрасной“ жизнью, куда податься. Ты для меня сейчас — всё. Мне не с кем слова сказать. Моя жена, дети... они против меня ополчились. После того, как у меня с бизнесом здесь ничего не вышло, посыпались упреки. Зачем ты нас сюда привез? Лучше худо-бедно жить на родине, чем быть нищими отщепенцами на чужбине. Понимаешь, привыкли к хорошей жизни. Квартира в зелёном районе Москвы не слишком далеко от центра, дача, машина, заграничные тряпки... А сейчас, вместо всего этого — откровенная бедность и неопределённое будущее. Рука Игоря потянулась в карман за сигаретами.
— У тебя курить можно?
— Кури, пожалуйста! Выпить хочешь?
— Не откажусь.

— Сейчас принесу коньяку. У моего Миши всегда в запасе коньяк. Нельзя ему пить: больное сердце и почки. А он, всё равно, пьёт, упрямец, и я ничего не могу с этим поделать, — сказала Наташа с горечью и пошла в комнату мужа отыскивать спиртное. Коньяк, конечно же, нашёлся, как всегда, под кроватью. Принесла бутылку, рюмки. Игорь закурил. Руки его дрожали. Он попросил у Наташи расчёску, посмотрел на себя в зеркало и отшатнулся. Там, в зеркале, был немолодой уже человек, усталый, с серым одутловатым лицом, растрёпанными полуседыми волосами и каким-то потерянным взглядом.

Неужели это я? — в тоске подумал Игорь. — Ну и рожка! Докатился. Как зверь затравленный, готовый, чтоб его подстрелили. Нет, женщины таких не любят. Такое ничтожество вообще невозможно любить. Разве что пожалеть. — Игорь сжал зубы, чтобы не раскиснуть. Наташа молча потерлась головой о его плечо, погладила по лицу. Ей хотелось поддержать его, вселить в него прежнюю уверенность, но она не знала, какую степень жалости могла себе позволить, чтобы не обидеть, не отпугнуть его, и заговорила совсем о другом, просто чтобы не молчать.

— Закуска у меня нехитрая. Плохая из меня я повариха. Почти всё покупаю в готовом виде на Брайтоне. Ты уж не сердись, — сказала она, накрывая на стол. — Нина твоя, наверное, отличная хозяйка?

— Да нет, какая она хозяйка! Всю жизнь на диване валяется, толстеет, любовные романы читает да телевизор смотрит. Мексиканские сериалы. А дома сплошной бардак. Да ты, Наталья, не суетись. Бог с ней, с закуской. Давай просто выпьем, — сказал Игорь, наливая себе и Наташе коньяку. — За тебя! За твой красивый дом. За твой успех в Америке!

Они выпили. За окном по-зимнему тоскливо выл ветер. Снова пошёл снег, на сей раз с дождем, и мелкие твердые полуснежинки, полукапли часто-часто застучали по стеклу. В гостиной было холодно и как-то неуютно.

— Хочешь, давай растопим камин. Он у нас всамделишный, не электрический.

— Очень хочу. Давай растопим. Где угли?

— Вот всё в пакете, для удобства. Миша мой — большой специалист по растопке каминов.

— Правильно, не женское это дело — с кочергой возиться. Сегодня я буду вместо Миши, если ты, конечно, не возражаешь. А ты садись поближе и грейся. Сейчас будет тепло-тепло, и согреются наши усталые тела, и оттаят замерзшие души. Ой, что-то я заговорил образами. Вот что значит присутствие поэтессы. Впрочем, это я о себе. Ты совсем не выглядишь усталой, и на душе у тебя покой. Да?

— Красиво говоришь, но вот с телом моим и душой всё не так просто, как кажется. Прошло более двадцати лет, и мы — не те, что были раньше. Мы ведь друг друга, по сути, совсем не знаем.

— А мне всё равно, сколько лет прошло. Двадцать или сорок. Я так соскучился по тебе за эти годы! — сказал Игорь, привлекая Наташу к себе.

— Ой! Подожди! У меня же есть для тебя сюрприз, — вдруг вспомнила Наташа, — я быстро, я сейчас. — Она выскользнула из Игоревых рук, побежала наверх, принесла CD и загрузила его в радиоплеер. Полилась чарующая мелодия танго Фаусто Папетти „Маленький цветок“, такая знакомая и любимая.

— Узнаёшь, мелодию, Игорь? Помнишь, как мы её слушали на школьных вечерах и танцевали?

— Конечно, помню. Под эту мелодию проходила наша юность и... любовь. Это незабываемая мелодия. Её просто невозможно забыть.

Саксофон то ли плакал, то ли смеялся сквозь слёзы. У Наташи приятно закружилась голова. Она села к Игорю на колени, обняла его руками за шею и, прижавшись лбом к его лбу, прошептала:

— Господи! Неужели это не сон? Неужели ты — явь, и я снова могу целовать твои глаза? Я думала, что больше никогда, никогда тебя не увижу. — Наташа заплакала.

— Нельзя целовать глаза. Это к разлуке, — печально улыбнулся Игорь. — Я знал, я предчувствовал, что мы ещё встретимся на этой земле. Боже, как я люблю запах твоих волос. Прошло тридцать лет, а твои волосы всё ещё пахнут черемухой. Мистика! Помнишь, я дарил тебе черемуху? Это было в шестом классе. Ты для меня была, как икона. Я боялся до тебя дотронуться и каждый день приносил тебе букет черемухи с Ваганьковского кладбища. Один раз меня чуть не зацапали менты. Еле ноги унес.

— Помню. Ещё бы не помнить! Я буквально пропахла черемухой, и дома у нас во всех вазах и литровых банках стояла черемуха. А помнишь, как ты увлекался авиамоделированием. Ты сделал самолетик, назвал его „Наташенька“ и гонял его под моими окнами, а я, гордая твоим вниманием, смело выходила на балкон и на виду у мальчишек и девчонок нашего двора смотрела, как он летает, и кричала тебе: „Привет!“

— Помню. Я ещё мечтал стать летчиком. Господи, какой я был невинный, наивный дурак-комсомолец. А ты была такая строгая, сурово-насмешливая, дружила с Тamarой, этой стервозной-отличницей. Чего ты, вообще, с ней дружила?

— А с кем мне было дружить? Ты же помнишь наш класс. В основном, дети рабочей слободки. Мажорский антисемитизм.

— Да, ты в нашем классе была редким цветком. Стихи. Частные уроки английского языка. Всегда красивое пальто, красивые туфельки. Я не знал, как к тебе подступиться. Ты то звала меня, то обдавала ушатом холодного равнодушия. А бывало, просто гадости говорила. Ты, моя дорогая, была хорошая язва.

— Это всё от неуверенности в себе. На самом деле, я была влюблена в тебя по уши, постоянно думала о тебе и ждала, когда же ты меня поцелуешь.

— И мы почти поцеловались. Помнишь новогоднюю ночь в Колонном зале?

— Ещё бы не помнить! Если бы ты расхрабрился и поцеловал меня, наконец, в этом злосчастном подъезде, может быть, всё было бы иначе.

— Не думаю. Просто не судьба нам была с тобой тогда. Как ни крутись, а от судьбы не уйдешь. Вот ведь встретились в Америке через двадцать лет. Это тоже судьба. Я, знаешь, стал фаталистом.

Руки Игоря становились всё настойчивее, проникая в интимные уголки Наташиного тела. Земля плавно уходила из-под ног. Муж, дочь, моральные устои, семейные обязанности — всё было вмиг отброшено, как лишний груз. Сколько долгих лет Наташа тащила этот груз! Довольно! Она, наконец-то, осталась налегке, наедине с тем, кого любила и желала.

— Пойдём ко мне в спальню, — еле слышно сказала Наташа.

Игорь молча кивнул, и они в обнимку пошли наверх. Ей стало страшно. *Только бы он не заметил, как я постарела!* — подумала она и перестала думать...

Любовь в сорок пять не такая, как в двадцать. Нет уже того юношеского пыла, ненасытности, любовных клятв и взаимных упреков. Страсть в сорок пять не вспыхивает кратковременным ярким пламенем. Она горит ровно и долго, как свеча в холодной зимней ночи, и медленно гаснет. Появляется бережное отношение друг к другу, забота, нежность, понимание и какое-то мудрое всепрощение. Любить другого человека таким, какой он есть: немолодым, усталым, несовершенным. Сострадать и стараться облегчить страдания дорогого тебе существа. Больше давать, чем брать. Вот верные сети зрелой любви, которые они друг другу расставили и в которые оба благополучно попались.

Наташа отдавалась Игорю с какой-то робкой покорностью, как юная девственница, отважившаяся на грех. Молча, без стонов наслаждения. Игорь, изголодавшись по женскому телу, — в последнее время квартирные условия им с Ниной не очень-то позволяли заниматься любовью, да и настроения не было соответствующего — зацеловал Наташу ото лба до кончиков пальцев на ногах. Наташа оттаяла, расслабилась, раскрепостилась и перестала чувствовать себя грешницей.

— Боже мой! — повторяла она. — Боже мой! Как мне с тобой хорошо!

После любовных объятий они долго лежали, слегка касаясь друг друга, и думали каждый о своём. Первым прервал молчание Игорь.

— Ты всё такая же, моя Натали! Всё так же прекрасна. Грудь, как у шестнадцатилетней девушки, — по-джентльменски врал он.

— Как сладко ты врешь! Но зато приятно.

— Спасибо тебе, Господи, за то, что ты проложил между нами расстояния и годы и не позволил отравить наши чувства каждодневным общением. Моя маленькая, сильная Натали! Ты прошла хорошую школу жизни и многого добилась. У тебя есть всё! Чем я, нищий новый иммигрант, могу украсить твою жизнь? У меня ничего нет, кроме потрёпанного лица и тела. Этого стареющего тела, которое, слава

богу, ещё годится для любви, — высокопарно высказался Игорь.

— Ты — прекрасный оратор! Что и говорить. Чувствуется внешторговская школа подготовки к переговорам. Но теперь помолчи, умоляю тебя, помолчи! Не порть печально-высокопарным штилем волшебство нашей встречи, — прошептала Наташа.

Мой дорогой, седой мальчик! — думала она. — *Хорошо, что мы встретились сейчас, а не через десять лет. Любовь осталась, она не умерла. Через десять лет, наверное, было бы уже поздно. Однако, как потрепала тебя жизнь! Ну, да ничего, ты ещё воспрянешь! Я, твой ангел-хранитель, помогу тебе.*

В десять часов вечера Игорь заторопился домой:

— Ну, мне пора, а то мои женщины меня совсем заключают.

— Господи, как не хочется, чтобы ты уходил. Если бы я только могла оставить тебя здесь навсегда! Я, кажется, схожу с ума... Да, конечно, иди. Я сейчас оденусь и отвезу тебя.

— Спасибо, не нужно. Тут недалеко. Я пройду пешком. Мне есть о чем подумать. Да и мозги заодно проветрю. Проводи меня до двери.

Надев куртку, Игорь столкнулся в дверях с Машей, которая неожиданно рано вернулась домой и уставилась на него в недоумении. Наташе ничего не оставалось, как представить их друг другу.

— Машенька! Это друг моей юности Игорь Никитин. Он недавно приехал из России. Игорь, моя дочь Мария.

— Приятно познакомиться, — сухо сказала Маша, окинула Игоря дерзким, оценивающим взглядом и с вызовом проигнорировала его руку, протянутую ей для рукопожатия.

— Мне тоже очень приятно, — пробормотал Игорь. — Я почему-то себе представлял твою дочку подростком, а она, оказывается, взрослая девушка, к тому же красавица. Она ужасно похожа на тебя в юности.

Маше приятно польстили слова Игоря. Она сразу сменила гнев на милость, улыбнулась и сказала по-русски уже более длинную фразу с легким американским акцентом:

— Что же вы так рано уходите? Ведь сегодня суббота. Оставайтесь пить чай.

— Спасибо! У меня много дел. Я и так слишком засиделся.

— У вас есть жена? — вдруг в лоб спросила Маша и посмотрела на Игоря испытующим взглядом.

— И жена, и дети, и даже внук, — улыбнулся Игорь. — Моя дочь, Ира, она, примерно, ваша ровесница. Тоскует она. Жених её, все друзья и подружки остались в Москве. Я бы хотел её с вами познакомиться, если, конечно, вы не против.

— ОК, — благодушно согласилась Маша.

— Будем дружить домами, — подытожила Наташа и как-то нервно засмеялась.

Поворот событий был неожиданным и странным. Колесница жизни летела вперёд в направлении, одному только Богу известном. Остановить её было невозможно. Оставалось покориться и ждать, что будет.

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Как только Игорь ушел, Маша подозрительно посмотрела на мать и строго сказала:

— Так, теперь ты должна мне всё рассказать!

— Это допрос? — усмехнулась Наташа.

— Никакой это не допрос. Просто расскажи мне всё, как было и как есть.

— Мне нечего тебе рассказывать!

— О да! Тебе есть что мне рассказать. Я это чувствую. Ты являешься домой поздно. И вот теперь этот sexу Игорь... У тебя нет другого выхода. Просто возьми и честно всё мне расскажи.

Наташа поняла, что деваться ей некуда: придётся дочери кое-что рассказать.

— Игорь — моя первая любовь ещё со школы. Это было задолго до того, как мы познакомились с твоим отцом.

— Твои стихи — они об этом человеке? Ведь правда?

— Да, многие мои старые стихи посвящены ему. Но тебе нечего беспокоиться. Это всё было так давно... Остались одни воспоминания, не больше.

— Ты врешь. Ты до сих пор его любишь. Я вижу это по твоим глазам. Как ты на него смотришь! С такой нежностью! Ты так никогда не смотришь на моего папу.

— Перестань! Как тебе не стыдно? Не смей так говорить со мной. Я люблю твоего отца. Игорь — просто старый друг. Поверь мне! — возмущённо и одновременно беспомощно оправдывалась Наташа.

— Нет! Я не верю ни одному твоему слову!

— Ты мне не веришь? Это твоя проблема. Лучше скажи, почему ты так рано вернулась. Что произошло?

— Не меняй тему разговора. Первая любовь — это навсегда.

— Мария, ты переходишь границы дозволенного. Я — твоя мать, я никогда тебе не лгала и... я требую к себе уважения! — взорвалась Наташа.

— ОК, ОК! Я уважаю тебя и твои тайны. Успокойся! Перестань оправдываться. Я не только твоя дочь, я уже выросла. Я ведь тоже женщина. Но ты этого ещё не заметила. Разве не так?

— Я всё замечаю, поэтому и спрашиваю. Что случилось в ресторане?

— Ничего! — ответила Маша, и в глазах ее блеснули слёзы. — Алекс не хотел со мной танцевать. Он меня просто игнорировал. Как будто я ему никто. Там была женщина, постарше, лет тридцати. Юлия. Он всё время говорил с ней. Я чувствовала, что между ними что-то есть. Я не могла больше этого вынести. Я вызвала такси и поехала домой.

Тут Маша вконец разрыдалась на плече матери. Её длинные темно-каштановые волосы выбились из высокой прически, крашенные ресницы потекли чёрными разводами по щекам, губная помада размазалась по подбородку... На Машу было жалко смотреть. Наташа, как могла, утешала свою взрослую дочь, приговаривая:

— Не плачь, доченька! Не стоит он твоих слёз! Подумаешь, примитивный плейбой. Вот поступишь в колледж, найдёшь себе другого, достойного. Ты ведь у меня и умница, и красавица. У тебя вся жизнь впереди...

Был уже первый час ночи, когда Наташа легла в постель. Как всегда, в последние годы она долго не могла уснуть. Почитала немного детективный роман. Не помогло. Под пуховым одеялом было жарко. Она открыла окно. Снова легла в постель. На тумбочке около кровати стоял портрет Надежды Александровны, покойной Наташиной матери. Она посмотрела

на мамин портрет и вспомнила, что завтра исполняется десять лет со дня её смерти. Наташа встала, спустилась в гостиную, достала из шкафа свечу в тяжёлом медном подсвечнике и поставила её рядом с портретом. Как только она зажгла свечу, комната осветилась каким-то странным сиянием, повеяло холодом, и что-то белое, воздушное проникло через окно и повисло в воздухе в ногах кровати. Наташе хотелось кричать, но голосовые связки не повиновались. Кричать она не могла и только в ужасе смотрела на портрет, из которого, как со сцены, сошла Надежда Александровна и, как ни в чём не бывало, села на Наташину кровать. Портрет зиял чёрной пустотой. Мама выглядела моложе и стройнее, чем та больная женщина, которую Наташа помнила перед отъездом в Америку. Она, пожалуй, выглядела даже моложе Наташи. Её тонкое, благородное лицо было неестественно бледным, длинные, тёмно-рыжие волосы ниспадали на плечи. Во взгляде её карих глаз были грустная нежность и сочувствие. Она заговорила быстрым полусшёпотом, как будто куда-то торопилась.

— Наташенька, солнышко мое! Я так давно хотела поговорить с тобой. Всё не могла решиться, боялась напугать тебя своей нереальной реальностью. Ты думаешь, что меня нет, Наташенька, но, ты же видишь: ведь я есть, есть. Не бойся меня, я не причиню тебе вреда. Ведь я так любила... люблю тебя! Как ты там без меня? Кто за тобой ухаживает, когда ты болеешь? Ты ведь так часто простужаешься.

— Никто не ухаживает, мама, — услышала Наташа свой голос, который вдруг прорезался. — Я сама теперь за всеми ухаживаю. Болеть-то мне некогда. Я уже взрослая женщина, мама. Мне сорок пять лет!

— Ой, Господи! Я забыла. Ты ведь совсем большая уже. А для меня ты всегда останешься моей маленькой, кудрявой голубоглазой девочкой.

— Зачем же ты оставила свою маленькую девочку, мама? Скажи мне, зачем, почему ты так рано умерла? Мне казалось, что ты наказываешь меня за жестокость нашего поспешного отъезда, за то, что я вас, стариков, бросила на произвол судьбы. Но ведь это чересчур суровое наказание, мамочка. Ведь смерть — это навсегда.

— Нет, нет! Не упрекай себя. Не думай так! Я умерла не в наказание тебе. Я умерла потому, что

просто устала жить. Отец твой совсем замучился со мной. Двадцать лет сплошных болезней. Надо было освободить его от этой тяжести. Я так любила твоего отца, а он так любил жизнь! Мне хотелось дать ему возможность пожить ещё сколько-нибудь лет по-настоящему. Как он там без меня?

— Ничего. Приобщается к Америке. Хорошо, что ты его всю жизнь учила английскому. Пригодилось. — Тут Наташа замылась. — Знаешь, у него ведь... вторая жена, твоя подруга Рая. Они трогательно заботятся друг о друге. И тебя помнят. Вся квартира у них увешана твоими портретами.

— Рая! Это к лучшему, — облегченно вздохнула Надежда Александровна. — Хорошо, что он на Тане не женился. Она бы высосала из него все соки и деньги и бросила.

— Мама, а как там у вас... ну, в том, в другом мире? — осторожно спросила Наташа. — Она уже свыклась с паранормальностью ситуации и продолжала разговор, как будто не происходило ничего сверхъестественного. Будто мама просто зашла её навестить, и они говорили по душам, как в старые добрые времена.

— Зачем тебе это, доченька? Придёт время — узнаешь. Ещё никто на земле не остался. Живи сегодняшним днем, Наташенька. Завтрашний день сам позаботится о себе. Старайся взять от жизни как можно больше.

— Я стараюсь, мамочка. Я даже чересчур стараюсь. Мне тебя так часто не хватает! Вот и сейчас, я запуталась в любви, а посоветоваться не с кем.

— Советуй — не советуй, ты всегда была упряма и поступала по-своему. Не беспокойся, всё само распутается. Муж у тебя золотой. Да ты это и сама знаешь. Дочку вот береги, Машеньку. Молодая она ещё. Трудная ей предстоит дорога. Ну, мне пора. Папу поцелуй. Я хочу, чтобы он был счастлив.

Тут Наташа протянула руку, чтобы дотронуться до материнского лица, но на том месте, где сидела мама, уже никого не было. Исчезновение матери было таким же внезапным, как и её появление. Портрет по-прежнему стоял на тумбочке, и его пустота снова наполнилась изображением молодой прекрасной женщины с мягкими карими глазами и длинными волосами цвета меди. Свеча догорала. В окно мягко проникал рассвет.

— *Что это было?* — в испуге подумала Наташа. — *Дух, видение? У меня галлюцинации. Я, кажется, схожу с ума. Слишком много сновидений! А может, это мне просто приснилось? Конечно же, это был сон, вещий сон,* — решила Наташа и успокоилась. — *Сейчас закрою глаза и буду спать дальше.*

Но вместо того чтобы спать дальше, Наташа погасила огарок свечи, почему-то зажгла настольную лампу и ещё раз взглянула на мамин портрет. Откуда-то появилась ручка и листок бумаги, и она, полулежа на кровати, принялась лихорадочно писать. Строчки стихов рождались сами, без всяких умственных усилий, как будто продиктованные внутренним голосом. Наташа еле успевала записывать.

Настанет день, и мы друг друга встретим
На той черте меж небом и землей.
Примчишься ты в заоблачной карете
И явишься так странно молодой...

*Нью-Йорк, Июль 2021 г.
(продолжение следует)*

Yelena Litinskaya was born in Moscow. She graduated from the Moscow State Lomonosov University with the Master's Degree in Slavic Languages and Literature. In 1979 Yelena immigrated to the United States, where she received her second Master's Degree in Library and Information Science. She has been working at the Brooklyn Public Library for 30 years (1980–2010) and continued writing poetry and prose. She published 9 books of poetry and short stories in Russian: „Monologue of the Last snow“, „In Search of Me“, „At the Canal“, „Through the Time Distance“, „From Spiridonovka to Sheepshead Bay“, „Games with Muses“, „Woman in a Free Space“, „Librarian's Notes, or My Town Brooklyn“, „Extrasensory of Love. Tales and Short Stories“. One can find her works in literary journals of US and Russia. <http://magazines.russ.ru/authors/l/litinskaya>. She is award-winner and a finalist of several international literary contests. Yelena is one of the editors of the Literary Magazine „Gostinaya“ (gostinaya.net) and the vice-president of the Russian American Writers' Association ORLITA.

Владимир Шкерин

ПЕРСТЕНЬ ИМПЕРАТОРА

Такого чувства нереальности у него не было ни до, ни после той осени. Удивительный, неповторимый, невозможный город.

— Послушай, салага, — сказал бывалый мореход Никола Морович. — Эта страна нипочём не выдаст тебе въездной визы. Да и капитану ни к чему лишние проблемы. Но нелегалы здесь — обычное дело. Видишь баркас, швартующийся к нашему правому борту, точно рыба-прилипала к левиафану?

Морович сунул пятерню в карман бушлата и извлёк сложенные вдвое банкноты.

— Твоё жалование. Кэп, конечно, не расщедрится, но на первое время хватит. Пойми: тебя ведь как бы и не было... На берегу ищи церковь Марии Елизаветы. Оттуда по утрам уходит вапоретто. Это такой пароходик. Он тут вроде автобуса...

Под покровом ночи баркас доставил его к камышовым дюнам. Контрабандист взял за услугу втридорога и безразлично махнул рукой в сторону темневших за песчаными холмами крыш:

— Elisabetta!

Остров оказался длинным и узким. Идти пришлось долго (вначале увязая в песках, потом — по булыжной мостовой), но заблудиться было невозможно. Он нашёл церковь и в предрассветном сумраке уже стоял на зыбкой палубе, со всех сторон теснимый островитянами. От людей пахло кофе, чесноком и нерастраченным теплом постелей, с моря тянуло свежестью. Сумрак поредел, осветлел и превратился в туман, из которого родилось солнце, бледное и вытянутое как яйцо. Небеса отделились от земли, над свинцово-синим силуэтом которой поднялись круглые купола соборов и остро заточенные карандаши колоколен. Пароходик вошёл в широкое устье канала и начал часто останавливаться у маленьких причалов, под сонными фасадами

дворцов. Не зная, где сойти, он покинул палубу одним из последних.

В отеле он снял скромную комнату, из которой стеклянная дверь вела на большой почти квадратный балкон. В паре метров напротив краснела черепичная крыша соседнего дома, этажом ниже за оконным стеклом разгуливала толстая полуодетая женщина, конечно, зная, что жизнь её на виду, как у рыбки в аквариуме, и нимало этим не смущавшаяся. У неё тоже был балкон, с которого штилевыми парусами свисали белые простыни. Ещё ниже лежал затянутый сухим плющом дворик с тёмной от прожитой вечности и зеленоватой от вечной сырости мраморной статуей.

Да, балкон определенно мирил его с комнатой — такой же чужой, безликой и безразличной, как и все иные временные его убежища. Стол, стул, кровать, тумбочка, шкаф. Иногда с некоторыми отклонениями от этого перечня. А тут над головой серенькое небо, адриатический эфир, с трёх сторон металлические перила, с четвертой — кирпичная стена. И ни души вокруг. Его, только его территория. Толстуха, разумеется, не в счёт.

Он уже томился предстоявшей встречей с лабиринтом улиц и каналов, но организм, вымотанный бессонницами последнего времени, предъявил свои права на отдых. В комнате было зябко. Кран паровой батареи, недовольный побудкой, поначалушипел и плевался, затем смирился, и от чугунного кожуха пошло тепло. Он скинул полувоенный наряд, умылся, уронил голову на подушку, подтянул одеяло к колючему подбородку и провалился в небытие. Город воспользовался отсрочкой (всё-таки их первое свидание) и затеял уборку: тяжёлые капли ударили в оконное стекло. Спавшего звали Александром Горским. Русский эмигрант — не забавная повесть,

изданная миллионным тиражом, но Европе малоинтересная. Город звали Венецией.

Он проспал весь день и поднялся поздно вечером или даже ночью. Ночь была... Как же это объяснить? Такой бывает сильно перезревшая слива. Тёмная-тёмная, сладкая-сладкая, нежная, сочная. Коснёшься её губами, как в поцелуе, прокусишь тонкую кожу и выпьешь всю со сладострастием вампира... За дверями отеля тугой влажный воздух подхватил его, и показалось, что ещё чуть-чуть, стоит только оттолкнуться от каменной ступени, и воспаришь в чернильное, безграничное, бесконечное. Заплутавший ветер принёс йодистый запах моря столь явственный, что мостовая загуляла палубой. Прошелестела женщина, вся в искрах стекляруса, и он узнал духи, которые любил когда-то. Негромко окликнул, видение обернулось, но вместо лица мелькнула бесстрастная маска с лунным бликом на фарфоровой щеке.

Сбоку, слева нахлынули пряные ароматы кухни, мягкий гортанный говор и звон посуды. Там, в жёлтом электрическом свете, словно актёры на сцене, сидели на открытой веранде мужчины. По сетчатым майкам и белым парусиновым штанам, по синим наколкам на круглых бронзовых плечах Александр узнал матросов. Настоящих матросов, не таких, как он, случайных пасынков моря. Вспомнив, что не ел со вчерашнего дня, зашёл в кафе, но, не зная языка, не сумел прочесть меню. Назаказывал всякой всячины, рыбы и улиток, и почти всё оказалось невкусным. Как назло, после расчёта с контрабандистом в кармане оставались только крупные купюры. Официант в длинном фартуке изобразил физиономией и руками, что, мол, не проблема, но, возвращая сдачу, оставил себе неоправданно большие чаевые.

— Эти итальяшки отчаянные бестии, — предупреждал Морович ещё на подходе к белокаменной Мальте. — С ними, брат, держи ухо востро!

Но до крохоборства ли на празднике жизни? Он откинулся на спинку стула, сплёл пальцы на затылке и блаженно вытянул ноги под столом. Ну, вот и всё. Изгнание! Свобода! А Россия, Сибирь, война, сыпняк — всё позади, всё далеко.

Куда теперь? Он покинул кафе и уже через минуту с доверчивостью мотылька вновь полетел на огонь. По ту сторону витринного стекла было столько света

и пёстрых красок. Радостный всплеск колокольчика над головой, корзина для зонтов у двери, обмен дежурными улыбками с продавцом. Господин в чёрном котелке наблюдал, как трепетно пакуется в картон приобретенная им ваза, предвкушая заточение её женственных форм в пыльном гареме своего серванта. И Александр мог бы купить такую, да не было серванта, а если б и был, так не было дома. Ни здесь, ни в России. Нигде. В дальнем углу были выставлены кружева, чувством бездомности вроде не угрожавшие. Он даже взял в руки один из платков и понял, что опять попался: узор был не южный, вьюжный... Полетели, полетели белые кружева, замели путь-дорожку, и уже различим хрумкий топот низкорослых мохнатых лошадок, и Савельич причитает, и ямщик кричит из-под руки сквозь стон и свист степной кругови: „Ну, ба-рин, бе-да, бу-ран!“

— Bu-ra-no, — счастливым эхом отозвался продавец, врываясь в чужие грёзы и распутивая их рекламным оскалом, глубинной чернотой щёк и круглым блеском лысины. И не веря в способность иноземца постичь язык Данте и Петрарки, вновь озвучил межъязыковой гибрид, указывая жёлтой морковкой пальца на кружева и закатывая маслины глаз в показном восторге: — Burano!

Тут из дверной рамы, точно из-под ямщицкой дуги, звякнул колокольчик. Это покупатель в котелке, повесив зонтик на руку и прижав коробку острым локтём, отворил дверь. Стоя одной ногой на пороге, на границе электрического сияния и южной ночи, он вдруг оглянулся и кивнул Александру. Не продавцу, не в пространство, а именно Александру. Может, кто-то из корабельной команды так приоделся? Или это его знакомый ещё по России? Отделавшись от продавца виноватой улыбкой, Александр кинулся за человеком, но тот уже растворился во тьме. Мимо скользили неясные силуэты, слышались обрывки разговоров и смех. Куда же он подевался? Ах, вот что! За углом затаилась улочка, столь тесная, что, раскинув руки, можно было разом коснуться обеих её сторон. Один шаг, и всё изменилось. Небо стало недоступным, а темень такой густой, что хоть сапоги ею мажь. Запахло мочой, и запах этот, обычно грязный, пошлый, вернул себе значение первобытной звериной угрозы: территория мечена, чужие здесь не ходят.

Поворачивать было стыдно, продолжать преследование, очевидно, бесполезно. Попросту — глупо.

Он всё же преодолел эту щель и очутился на берегу канала. И словно опять кто-то поменял декорации. Голубыми мохнатыми астрами горели фонари, бесшумно скользили прохожие, одна луна бесстрастно висела в небе, другая трепетала на водной ряби. Он пустился кружить по этим набережным и улочкам, и неизменно находился вожатый, который минуточку вёл его неведомым маршрутом, а затем исчезал без следа. Иногда Александр возвращался, дабы уличить декораторов в тайной работе, но те оказывались проворнее и успевали сменить фасады домов и даже задрапировать их сеткой из сухого плюща и вековечных трещин.

Он уже искал обратную дорогу в отель, когда откуда-то сверху полились звуки скрипки. Мелодия показалась знакомой, и спустя мгновение он её узнал: это была баркарола Чайковского. Венецианская песенка русского детства. Парк, пруд, лодка, отец на вёслах, мать под белым зонтом и он сам в матросском костюмчике. И пока пела скрипка, он не отрывал глаз от открытого окна на втором этаже старого, конечно, старого дома, пытаясь уловить хотя бы эфемерную тень на газовой занавеске. Когда же музыка внезапно оборвалась, он ещё потоптался немного, прежде чем отправиться восвояси. В этот момент окно одавило его долгожданной русской речью.

— Ах, оставьте! — молодой женский голос звенел высокой нервной нотой. — Вы рассчитываете отыскать храброго простофилю в этом городе лжецов?

Вероятно, с таким же восторгом донжуаны былых столетий ловили выпорхнувший из окна надушенный платок. Крикнуть, позвать? Не знаю, мол, белые вы или красные, но ведь русские же! Чайковский у нас один. А, может, свистнуть? Был такой условный свист, которым гимназисты вызывали друг друга на улицу...

Конечно же, Александр не крикнул и не свистнул. Решил, что утро вечера мудренее. Завтра он вернётся и узнает, что за русские поселились в этом доме.

* * *

За ночь ясность плана поблекла. Ну, русские, мало ли... Это в корабельной команде он был один. Да

и там сербские кочегары поддержали, не оставили без компании.

— Допустим, русский северный матрос — поморский внук, варяжский правнук, — рассуждал Никола Морович, попыхивая короткой трубочкой в усы. — Зато в наших южных широтах русский моряк, считай, наполовину серб.

Так было на корабле. Но Венецию русские обжили ещё с Петровских времён, никак не позже. Художники и поэты, дипломаты, шпионы и бездельники. Разные русские. Очень разные русские.

И всё-таки утром Александр стоял на узкой мостовой под пёстрой стеной старого дома. Когда они вышли, мужчина и барышня, возможности разминуться уже не осталось. Мужчина был лет под пятьдесят, рыжеватый, с пышными усами. Одет в гражданское, в полосатый пиджак, однако тугой и густо накрахмаленный отложной воротничок выдавал армейскую выправку. В руках держал какую-то книгу и трость с серебряным набалдашником. Спутница его была значительно моложе, наверное, вполонину. Не новое, но элегантное платье, шляпа с вуалькой, быстрые серые глаза.

Александр шагнул им навстречу, щёлкнул каблуками (каблуки на растоптанных матросских башмаках были так себе, щёлк получился соответствующий).

— Мне кажется, я вижу соотечественников. Позвольте представиться: поручик Александр Горский.

— Лев Марков, — охотно отвечал мужчина. — К прискорбию не поручик. Но, как видите, и имя, и фамилия у меня тоже воинственные.

Неужто не служил? Или, напротив, чином значительно выше?

— А по батюшке? Вы — старше. Мне так будет удобнее.

— Пустое! Мы с вами в Европах. Вот и давайте по-европейски — без отчества.

Да как вам будет угодно! Александра куда более серые глаза интересовали.

— А это извольте любить и жаловать моя племянница Маруся Буранова.

— Добрые знакомые зовут меня Мурой, — просто сказала она и по-мужски протянула руку. Ладонь у неё была узкая, сильная. — Признайтесь же,

что наша встреча не случайна. Вы тут уже минут двадцать прогуливаетесь.

Поручик вздохнул в шутливой горести:

— Увы, разоблачён! Брёл вчера вечером этой улочкой и услышал Чайковского. А после разговор по-русски, кажется, об одном из персонажей Коуан Дойла.

Марков встрепенулся:

— О Шерлоке Хомсе? О гениальном сыщике?

— Всего лишь об Этьене Жераре. О простаке-гусаре. Помните, как он лишился уха в Венеции? Ведь это же он — храбрый простак в городе лжецов, не так ли?

— Вот оно что! Ну да, ну да... Смутно припоминаю.

— Напротив, — сказала Мура, сведя брови к переносице. — Мы довольно долго беседовали о литературе.

Александр улыбнулся. Ах, эта очаровательная строгость русских барышень в разговорах о великом и бездельном!

И они неспешно пошли вдоль зелёной полосы канала.

— Ну, поведайте же нам о себе.

— Да что рассказывать? История по нынешним временам самая обыкновенная. Из недоучившихся студентов. Прошёл с боями от Урала до китайской границы. Долгое-долгое отступление, знаете ли. Потом зимний поход в Приамурье, и вновь поражение. Владивосток, торговое судно под чужим флагом, и вот я здесь.

— Нелегалом? — быстро спросил Марков.

Александр кивнул, описал, как и где его высадили.

— Это на Лидо, — узнала Мура. — Дюны Альберони. Там безлюдно.

— Вы хорошо знаете Венецию?

— Да она тут как рыбка в воде! — поспешно встрял Марков.

— Мало радости плавать рыбкой в здешних мутных водах, — поморщилась Мура.

— Не слушайте! Просите, чтоб послужила вам гидом. Чичероне, как здесь говорят.

— Это возможно? Вы бы очень меня обязали.

— Если обещаете хорошо себя вести, — отвечала она, не меняя серьёзного тона.

* * *

Электрического звонка на двери не оказалось. Александр дёрнул за потёртый замшевый шнурок, и с той стороны нехотя ответнобрякнул колокольчик.

— Ненастно, — сказал гость открывшей хозяйке. — Может, отложить прогулку?

— Пустое! — отмахнулась она. — Я возьму зонтик дяди Лёвы. Это большой мужской зонтик, которого хватит на двоих.

Сам дядя Лёва так и не появился.

Вероятно, в планы отважного чичероне входило показать всю Венецию в один набег, поэтому экскурсия началась рано. К тому же Мура заверила, что утром меньше туристов. На рынке у горбатого моста Риальто кухарки ещё торговались с рыбаками за свежую рыбу. Крупные тёмно-синие тунцы, плоские пучеглазые камбалы и змеевидные угри если не прошлой ночью, то самое позднее вчера днём обретались в родной стихии: одни в морских пучинах, другие на прибрежных отмелях и в медлительных речных устьях. Вчера они были друг для друга смертельной опасностью и вожделённой добычей, а нынче, беспомощные и мертвенно-липкие, лежали рядом на чужом торжище.

На перилах моста красовалась табличка: „Плывать в купающихся запрещено“.

— Здесь разве купаются?

— Уже нет. Но, говорят, лет двадцать назад ещё случалось. А в прошлом столетии и лорд Байрон не отказывал себе в удовольствии поплескаться в Гранд-канале.

— Наверное, приятно было поплевать свысока на лорда Байрона. Но если уже два десятилетия никто не купается, почему не снять табличку?

— Два десятилетия — такая мелочь! Кстати, у Байрона тут была зазноба. Жена какого-то гондольера. Об этом знала вся Венеция. Кроме этого гондольера, конечно.

Ох, сероглазая, осторожней с матросом! Не сказал, лишь подумал. Но она всё равно уловила.

— Ведь вы ж не Байрон?

— Нет, я не Байрон, я другой. Я странник с русской душой.

Замерла вполоборота и впервые за недолгое их знакомство рассмеялась:

— Для нелегала сойдёт за цитату... Быстрее! Надо успеть на тот кораблик.

За бортом хлопали крыльями чайки, невесомо скользили гондолы. Сойдя на берег у белой церкви делла Салюте, они прошли по каменной набережной до таможенной стрелки, подобно носу корабля врезавшейся в серые воды лагуны. Здесь было ветрено и безлюдно. Лишь пожилая пара — он в пальто с поднятым воротником, за спинкой инвалидного кресла, она в кресле, до пояса укрытая пледом, конечно же, клетчатый — молча смотрела вдаль. Слева и спереди островные колокольни сторожили морские ворота города, справа широкой полосой лежал канал Джудекки. Мура упоенно исполняла роль гида, рассыпая чудные имена и поворачивая экскурсанта лицом то к одной, то к другой достопримечательности. Внезапный порыв ветра превратил её зонт в чёрный флибустьерский парус. Девушка беспомощно взмахнула свободной от зонта рукой, силясь удержать равновесие на краю гранитной плиты. Александр подхватил её. Она не успела откинуть вуальку, и первый их поцелуй угодил в сеть, словно нетерпеливый птенец. Не покидая объятий, Мура изогнулась в талии, подняла руки к шляпке и устранила досадное препятствие. Потом они ещё долго укрывались куполом зонта от соленого ветра и реденького, почти символического дождя, и её ладони лежали на его трепещущей груди, а он всё крепче сжимал её тело, податливое и упругое одновременно. Наконец она отстранилась, извлекла из сумочки стеклянный флакон с густой багровой жидкостью, привычным движением встряхнула и, открыв, провела пробочкой по губам. Вначале справа налево по нижней губе, затем в обратном порядке по верхней.

— Вот так, — сказала она. — Вот так...

Отвернулась и пошла вдоль кромки набережной. Ветер трепал подол её платья. Пожилая пара по-прежнему что-то силилась разглядеть в туманной дали.

— Может быть, их сын моряк? — предположил он.

— Может быть, — равнодушно согласилась она. — Венеция обручена с морем.

Что ж это было? Отчего эти скороспелые поцелуи?

— Говорят, что Венеция тонет?

— Говорят. Оттого её могильная роскошь ещё пленительней.

Они опять воспользовались вапоретто, но лишь для того, чтобы пересечь канал наискось. На борту Мура молчала, однако с первыми шагами по каменным плитам площади Сан-Марко принялась сыпать архитектурными терминами и историческими датами. Вот справа, возлеза на готических галереях, тешит свою мавританскую негу бело-розовый дворец дождей. Из-за его дальнего угла надвигается на площадь ажурная громада собора Сан-Марко, пышная гробница одноимённого евангелиста. Ещё дальше — часовая башня, над которой примеряются к колоколу зелёные великаны-молотобойцы. Они бьют каждый час, и бой мы непременно услышим. Башня тоже носит имя Сан-Марко, как, разумеется, и краснокирпичная соборная кампанила, что слева от нас. Тут всё — Сан-Марко. Всё. Голуби же, да, голуби, ничего не поделаешь, туристам нравится. Подбежал фотограф с кодаком, белозубо ослабил, затараторил. Мура отрицательно покачала головой и стремительно удалилась внутрь собора.

— Как странно, — шепнул Александр. — Мы будто в православном храме.

— Ничего странного, — Мура словно ждала этого замечания. — Венеция — не вполне Запад, а его пограничье с Востоком. Собор расписывали византийские мастера. Отсюда избыток позолоты и статичность фигур и ликов, как в наших церквях.

— Так ведь и славянский мир под боком. Только Адриатику пересечь.

— Да-да. И ещё Северная Африка. Оттуда временами дует настойчивый ветер сирокко, и тогда венецианцы сходят с ума.

В соборе они провели часа полтора-два. А когда вышли, Мура обратила его внимание на три гигантских пустых флагштока. Когда-то, по её словам, на них реяли пёстрые стяги венецианских вассалов. Теперь же вокруг зелёной бронзы одного из оснований галдели молодые люди в чёрных рубахах. Туристы останавливались, слушали.

— О чём они?

— О том, что Великая война не кончена, что либералы переписывают историю и крадут у них победу. Не обращай внимания: это фашисты.

— Они не похожи на венецианцев. Даже с поправкой на сирокко.

— Потому что не венецианцы. Скорее всего, студенты из Милана. Их привезли специально, потому что Венеция мало интересуется политикой.

— Чем же интересуется Венеция?

— Своим прошлым, естественно.

— Давно ли вы с дядей обосновались здесь?

Заданный вне программы вопрос повис без ответа. Мура молча шла в сторону моря. На небольшой сцене под открытым небом играл духовой оркестр. Официанты в белоснежных пиджаках и резиновых сапогах убирали плетёные стулья из воды. Венеция тонула. Впрочем, чуть дальше, на залитой лишь электричеством галерее также стояли столики.

— Заглянем?

— Нет, — отказалась она с неожиданной деловитостью супруги или давней возлюбленной. — В „Флориане“ чашка кофе дороже, чем обед в любом ином месте.

— Ты уже заботаешься о моем кошельке?

Лукавая гордыня! Всё равно, что ринуться в бой с открытым забралом, а из-под забрала — жиденская ухмылочка: „Ведь это ж неблагородно метить в лицо, да?“ Она улыбнулась („Знаю, знаю, рыцарь, что кошель твой тощ“) и взяла его под руку:

— Есть милая траттория на узкой террасе меж домом и каналом, где мы прокутим сэкономленные на кофе деньги.

Неужели всё кончилось? Юность, добровольчество, мечты о героической гибели и вера в жизнь бесконечную. Потом — дороги, дороги, холод и голод, сожжённые сёла и эта кощунственная обыденность смерти. А, может, и не было ничего? Всё сон иль тлен, и вечен только камень, как та ступень, которую прошёл я, но след мой смыла первая волна...

Они выбрали одну из гондол, во множестве качавшихся на волнах у причала. Толстый гондольер в шляпе-канотье с алой лентой буркнул что-то малоприветливое.

— Что он сказал?

— Чтобы ты встал на середину и не перевернул лодку. А после, что ты молодец.

Орудая одиноким веслом, гондольер направил свой чёлн вглубь каменного лабиринта. Где-то он

касался стены ладонью, и по вытертой до кирпичей штукатурке было видно, что так десятилетиями делали его коллеги, где-то отталкивался ногой от угла, и след на камне свидетельствовал, что этот приём повторялся здесь веками.

— Венецию сотворили такие же, как мы, изгнанники, — уверяла Мура. — Они бежали сюда, спасаясь из-под обломков Римской империи. И им удалось не только уцелеть, но и разбогатеть.

С высоты каменной набережной и постамента, со спины коня, словно отбившегося от четверни святого Марка, упершись короткими прямыми ногами в стремена и отведа богатырский локоть и закованное в латы плечо, с грозным безразличием взирал поверх их голов кондотьер Коллеони.

— А вот, кстати! Ведомо ли тебе, что кондотьеры — это наёмники? Не венецианцы. Как видишь, Венеция умеет быть благодарной, — и, повернувшись к хмурому гондольеру, перевела своё умозаключение на итальянский. — Non e così? Не так ли?

Венецианец смерил пассажирку взглядом и презрительно ухмыльнулся.

* * *

На третий день их быстротечного романа Мура привела Александра в палаццо, принадлежавшее её знакомому — полурусскому-полуенецианцу графу Цукато.

— Чудной зверёк! — хмыкнул Александр.

Мура его легкомысленности не разделила: „Ты должен увидеть Венецию изнутри“. Хозяина дома не оказалось, но Муру здесь хорошо знали. Молодой атлет со смоляными кудрями легко поддавался дамским уговорам и проводил нежданных визитёров от входных дверей вглубь здания. Венеция изнутри оказалась такой же, как и снаружи: роскошной и запущенной. Мраморные полы, стены, обтянутые зелёной тканью, занавешенные тяжёлым бархатом окна, зеркала и картины... Александра более всего заинтересовали именно картины. Старые мастера как-никак. Полнотелые красавицы источали из сумрака полотен томное вожелание. Мужские фигуры подле них были темны и невзрачны. Мужчины были лишь слугами: играли для полунагих

повелительниц на лютях, подобострастно ловили их отражения в зеркала.

— В венецианских домах всегда полумрак. Старым домам, как и старым людям, есть что скрывать. Паутина, пыль, давние делишки... Вот посмотри.

Посреди залы, выходявшей окнами на канал, стоял на столе большой стеклянный куб. Подойдя ближе, Александр увидел внутри куба массивный золотой перстень на бархатной подушечке. Перстень был без камня, зато с монограммой „Р III“, окружённой лавровой ветвью и увенчанной короной.

— И что это?

— Перстень российского императора Петра Третьего.

— Откуда бы тут взяться этой штуковине?

Мура остановилась по другую сторону куба, пристально глядя на Александра поверх перстня.

— Семейное предание графов Цукато гласит, что один из их предков удостоился чести принимать в этом палаццо нашего свергнутого монарха. Перстень был подарен в благодарность и в память об этом событии.

Александр поднял глаза на спутницу и усмехнулся. Искаженное двумя слоями толстого стекла лицо молодой женщины кривилось и гримасничало.

— Я не рассказывал, что до войны учился на историко-филологическом факультете? А, впрочем, и без университетских штудий любой русский гимназист знает, что Пётр не просто был свергнут с престола своей коварной супругой Екатериной Второй, но и умерщвлён её пособниками в загородном дворце под Петербургом.

— Она не посмела, — Мура вышла из-за стекла и приблизилась к Александру. — Не решилась. Всё-таки он был отцом её ребёнка.

— А это как раз вопрос спорный, — парировал Александр, отстраняясь.

— Тем не менее. Пётра не убили, а тайно вывезли за границу. В обмен на письменное своеручное отречение.

— И долго он оставался в Венеции?

— Не думаю, — Мура сделала ещё один шаг вперёд. — Тут слишком много любопытных глаз. Пётр перебрался в венецианские владения на другом берегу

Адриатики, в Албанию Венету. И даже некоторое время правил Черногорией. Славяне...

Кудрявый красавец, до той поры следовавший за гостями безмолвной тенью, извлёк из жилетного кармана круглый хронометр и с поддельным сожалением развёл руками. Пора, мол, пора!

— Запомни, как будем выходить, — поспешно шепнула Мура. — И вот эту дверь...

Вышли, впрочем, как и вошли: из залы по мраморной лестнице в переднюю. На пороге распрощались с кудрявым.

— В чём дело?

Мура ответила не сразу. Облокотилась на парапет, легла на него грудью и принялась смотреть на воду. Как будто в здешней воде можно что-то увидеть. Александр молча ждал. Она заговорила вновь тоном экскурсовода — гладко, как по писаному:

— В Венецианской республике существовал обряд Sposalizio del Mar, то есть обручения с морем. Ежегодно дож в рогатом чепце поднимался у площади Сан-Марко на борт золотой ладьи Бучинторо, выходил в море во главе лодочной процессии и близ острова Лидо кидал в воды лагуны золотой освящённый перстень.

Мура вдруг замолчала.

— И..? — подбодрил её нетерпеливый слушатель.

— И теперь старому дураку Цукато вздумалось на склоне лет подобно дожу обручиться с Адриатикой! — эмоции вдруг набежали, как шальная волна в тихой заводи. — Так что вскоре, возможно, уже на будущей неделе, перстень несчастного императора, эта реликвия потаённой истории России навсегда исчезнет в здешней чужой пучине.

— У графа разве нет других перстней?

— Наверное, есть. Но этот самый ценный. А дар морю — свадебный дар. Венеция, Россия, связующий их род Цукато, старинный обряд... Я не умею объяснить, как это всё перемешалось в его голове.

— Мне только кажется или ты и правда подбиваешь меня на воровство?

Серые глаза, не моргнув, выдержали его укоризненный взгляд.

— На спасение, мой милый. На спасение реликвии. Ради России. Ради истории, — и уже почувствовав, что он дрогнул, поддаётся, добавила, может

быть, и лишнее: — В конце концов, венецианцы тоже выкрали мощи евангелиста Марка. И что бы была теперь Венеция без святого Марка?

* * *

Всё шло как-то чересчур гладко. Хотя зачем подозревать? Лев объяснил, что внутри палаццо имеется сообщник. Да-да, тот самый кучерявый. Почему? Деньги, банальный подкуп. Всего лишь слуга и, конечно, продажный. Потому-то оказалась открытой входная дверь, а за ней — никого. Света внутри тоже не было. Ни в передней, ни на лестнице. Лишь контрабандой проникавшие сквозь окна отблески лежали на мраморных плитах, на стенах, на плечах и бёдрах дебелых прелестниц. Прислушиваясь ко всякому шороху (а их в ночном старом доме всегда предостаточно), Александр прокрался в залу с кубом. Сунул пальцы под стеклянный угол, попробовал приподнять. Удалось. Ещё немного, ещё... Рука юркнула в открывшуюся щель. Мягкость бархата, тяжесть золота. Всё. Пора уходить. Тихо, вежливо.

Дверь! Ах, да, дверь... Вчера, когда Мура была в его номере, и он капитулировал под жарким её натиском (тот перстень, не тот, потом, всё потом...), так вот вчера Мура особо предупреждала: за этой дверью логово старого безумца, не спускай с неё глаз! И вот теперь по контуру тёмного прямоугольника неожиданно вспыхнула золотая нить, дверь распахнулась, и нестерпимо яркий свет потоком хлынул в залу. Из этого потока возник истончённый силуэт и, сливаясь с собственной тенью, вытянул в сторону незадачливого злоумышленника длинные руки:

— Ladri! Ladri! Воры!

Александр метнулся к выходу, но путь к отступлению уже преградил кудрявый. Двурюшник дорогой, пропусти, споткнись,образи что-нибудь. Что это за штуковина у него в руках? Ого, арбалет! Необычно и даже лестно. Но если решится стрелять, то добьёт наверняка. Изменнику раненый свидетель ни к чему. Шалишь! Не для того поручик Горский за три моря от войны ходил, чтоб его какой-то паяц дырявил. Согнулся пополам, отпрянул в сторону и помчался вдоль увешанной полотнами стены. Вот ещё какая-то дверь, юркнул в неё. Дальше — длинный

узкий коридор, но навстречу опять кто-то поспешает. Ну, барин, беда! Обложили... Повернул назад. В зале, прямо напротив двери — окно. Думать некогда, выбирать не из чего. На бегу окольцевал палец золотом и с разбега прыгнул. Только и успел голову набычить да локти выставить. Стекло и хлипкая рама разлетелись вдребезги. Может быть, так и сквозь стену прошёл бы? Но в тротуар точно не нырнёшь, а тут спасительница Венеция канал подстелила.

Кажется, о воду ушибся даже сильнее: не успел сгруппироваться. На мгновение сознание погасло, однако вынырнул — из воды и небытия одновременно. Оглянулся. В окне, которое он только что вышиб, коротко полыхнуло. Эй, эй, гондольеры! Стрелять в купающихся запрещено! Тем паче, что не из музейного арбалета, а из банального револьвера. Страх больше не было. Лишь весёлый зуд опасности, электричеством струившийся по жилам. До предела раздул лёгкие влажным воздухом и вновь погрузился с головой в чернильную глубину. С такими же шансами на попадание можно стрелять и по рыбам. Поплыл, толчками продвигая тело вперёд и немного вверх, чтобы справиться с притяжением дна.

— Знаешь, — сказал ему просолённый мореход Никола Морович, когда вместе пили водку на мысу Эгершельда, — если человек падает в ледяную воду, ему плевать, тонет корабль или нет, он умоляет поднять его на чёртову палубу.

И где ж та палуба? Где Лев на лодке? Должен был ждать, ужели, услышав выстрелы, скрылся? Но вот осторожный всплеск, что-то тёмное скользнуло сбоку и нависло над головой одинокого ночного пловца.

— Хватайте весло. Осторожней, осторожней! Перстень при вас? — торопливым шёпотом осведомился Марков.

— И я вам рад, — огрызнулся Александр, переваливаясь через борт. — В меня стреляли, вы не заметили? А ещё я чертовски замёрз. Вы случайно не захватили пледа?

— Извините, не знал о ваших планах искупаться. И всё же, что с перстнем?

Александр показал руку:

— Вези, Харон. Плата при мне.

Обхватив руками себя за плечи, скукожился в позу эмбриона. В голове эхом не то ударов сердца, не то

кляцанья зубов, не то прошлой жизни и потерянной родины скакали по лестнице ритма стальные шарики слов:

Умрёшь — начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

На каналах в этот глухой час пусто. Лишь кое-где тускло светили фонари сборщиков мусора на длинных лодках с металлическими баками. В узких улочках тонули звуки. Марков грёб одним веслом, но не по-здешнему, не по-гондольерски: то с одного борта, то с другого. Завидев уходившие в воду каменные ступени, поспешно причалил.

— Вылезайте, голубчик. И подержите лодку.

На берегу первым делом достал из кармана цилиндр электрического фонаря в металлическом корпусе.

— Покажите перстень!

Александр пожал плечами: к чему такая спешка? Впрочем, возражать не стал. На преступление он пошёл исключительно из-за серых глаз, об ином вознаграждении и не спрашивал. Марков же, словно забыв об опасности, принялся вертеть добычу в пальцах, выглядывая что-то в жёлтом луче и приговаривая:

— Тэкс, тэкс... Интересненько! Что ж это такое? Поглядите-ка.

Ох, уж эти ценители артефактов! Не лучше ли для начала убраться подальше? Вздохнув, склонился над марковской ладонью.

— Ну? Что не так?

Неожиданно ладонь захлопнулась, свет метнулся в сторону, вверх, и в следующий миг Александр почувствовал, как Венеция уходит у него из-под ног.

* * *

Он очнулся, когда макушка солнца уже выглядывала из-за черепичной крыши. Прохожих было немного, да и у тех, что были, распротёртое на береговых камнях тело интереса не вызывало. Перебрал турист, бывает. Лишь одна почтенная дама норовила ткнуть в его рёбра костылём, дабы удостовериться, точно ли он жив.

— Граци, синьора! Ваша волшебная палочка вернула меня к жизни.

И в этой жизни он отныне храбрый простофиля. А посему нужно поскорее собрать манатки, переодеться и убраться из хитрого города. Он оперся рукой о мостовую и невольно вскрикнул: стёкла разбитого фонаря впилась в незащитную ладонь.

— Да будьте ж вы прокляты! Не вы, синьора, не вы.

Голова болела, но соображала быстро. Отель свой нашёл минут за двадцать. Портье, подавая ключ с непропорционально большим деревянным брелоком, взглянул со значением. И горничная, таскавшая за хобот по сумеречному коридору рычащего пожирателя пыли, — тоже. Ну да, явился утром, весь мокрый, на лбу шишка, рука в крови. Матрос не виноват, матрос так отдыхает. Закрылся в номере. Вещей у него совсем чуть, покидать их в сумку дело трёх минут. И всё-таки он не успел.

В дверь требовательно постучали.

— Кто?

Слово „полиция“ понятно ему на всех языках. Значит, ждали. Эх, Мура, Мура... Шаг — и он уже на балконе. Сумку оставил, не до неё теперь. За спиной — чужой металлический скрежет в замочной скважине. Перемахнул через перила и на мгновение замер, склонившись вперёд, словно резная фигура на носу старинного корабля. Скрип и стук распахнувшейся двери. Разжал пальцы, оттолкнулся и полетел. Удивленная толстуха этажом ниже пошла на встречный взлёт со всем своим аквариумом (на шабаш, кумушка?), и штилевые паруса развешанных простыней встретили долгожданного загулявшего матроса (убрать грот-брамсель! убрать грот-марсель! убрать грот!). Веревки и простыни смягчили падение. Выпутавшись из них, встретился взглядом с зеленова-то-мраморной хозяйкой двора. Если это ради меня, молодой человек, то напрасно. За столетия я повидала и не такое. Увы, синьора, не до амуров! Сверху спикировала черная карабинерская фуражка, оглушительно щёлкнул ружейный затвор. Не слишком ли часто стреляют в этом тихом городе?

Из двора вёл только один выход. Метнулся туда, выскочил на узкую улочку. Чужие по таким не ходят. А здесь налево одни, направо другие. Ловушка

захлопнута. Захотелось сесть, упереться спиной в кирпичную стену, вытянуть ноги. Всё, отбегался! Ну, запрут его в тюрьму с видом на море. Много ли за перстенёк дадут? Опять же, какая-никакая крыша над головой и, поди, макаронами кормят.

Но кошка-судьба ещё им не наигралась. Где-то посреди улочки скрипнула низкая металлическая дверца, выглянула мужская голова с гладко зачёсанными тёмными волосами, показалась рука, махнула, и незнакомец коротко позвал по-русски:

— Сюда!

Не раздумывая, Александр юркнул в открывшуюся нору, за спиной тяжко грохнул кованый засов. Хотел притормозить, дать глазам привыкнуть к полутьме, но незнакомец решительно зашагал прочь. И они пошли какими-то коридорами, на ходу толкая какие-то двери, временами под подошвами хлюпала вода, потом вдруг над головами загорался серенький квадрат неба и простоволосая женщина, стиравшая бельё, недовольно кричала на них, и выбежал мужчина в грязной рубаше и кричал на женщину. Наконец они очутились на берегу канала, где прогуливались обычные бездельные люди, и только тут сбавили шаг. Тогда Александр разглядел своего спасителя. Наверное, ровесник или около того. Стрелки-усики, галстук бабочка, узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шёлковые носки. Ни фронтальные поручики, ни корабельные кочегары таких не уважали. И, тем не менее, именно ему Александр обязан если не жизнью, то свободой.

— Кто вы?

— Честь имею представиться, граф Цукато Родион Петрович.

— Я слышал эту фамилию.

— О, разумеется! Цукато немало послужили России. В том числе и по жандармской части. Я, например, родился в Петербурге. Но революция, знаете ли... Вам интересно, откуда вообще венецианские графы в России? В большинстве своём это славяне восточного берега Адриатики. В разное время несколько знатных родов предпочли венецианскому гражданству службу русскому государю. Владиславичи, Симоничи, Капнисты... Но вы-то ведь нашу фамилию не в анналах выискали. Тут интерес сугубо уголовный. Вы нас обокрали.

— Зачем же вы меня спасли?

— Ещё не спас... А, впрочем, мне интересно, на чём вас провели. Ведь это так? Не отрицайте. От вас за квартал несёт воровским дилетантизмом.

Александр поморщился:

— Я искренне сожалею о содеянном. Но, правда, не понимаю, почему вы помогли мне скрыться от полиции. Ради того, чтобы ежечасно напоминать о моём позоре? Едва ли. В любом случае, мне осточертели здешние тайны. Прощайте, граф!

— А вы неблагодарны... Впрочем, уйти вам всё равно не удастся.

— Это почему? — с насмешливым вызовом осведомился Александр.

— Во-первых, потому, что вы мокрый, грязный и напуганный. И изображаете беспечную венецианскую променаду. Оглянитесь, оглянитесь, как на вас здешняя публика смотрит. Первый же встречный полицейский поинтересуется вашими документами. Кстати, что у вас с документами? Я так и предполагал.

Граф самодовольно ухмыльнулся и полез в карман за портсигаром.

— Не желаете?

— Не курю. Что там у вас припасено на второе?

— А на второе один кудрявый арбалетчик, который как раз тарыхтит моторной лодкой позади нас. Слышите? Видите? Помашите ему, ведь вы уже знакомы. Джакопо меткий. Пусть уж лучше он послужит нам лодочником, чем вы ему мишенью.

— И куда же направится наша дружная компания?

— Адрес вам хорошо известен.

— Что ж, убедили. Велите своему водоплавающему стрелку швартоваться.

Преступник возвращается на место преступления. Слишком быстро и не совсем по своей воле, но возвращается. Кажется, ещё и насморк подхватил. Так ведь не Байрон по каналам плескаться. А эта проклятая вода опять слева-справа по бортам...

— Надо полагать, что вас вдохновила наша общая знакомая Мура Буранова?

— Вот у неё и спросите.

— Хотелось бы. Утром мы с Джакопо навестили её гнёздышко. Увы, птичка упорхнула! Зато узнали, что жила она не одна. Вам известно кто сожитель?

— Не сожитель. Дядя.

— Допустим, дядя. Ведь это он ночью выловил вас из канала? Да он, он. Не барышня же! А иных знакомств вы здесь пока не нажили. Имя дяди, конечно, не назовёте?

— С превеликим моим удовольствием! Лев Марков. Отчества вот только не знаю.

— Лев Марков? — голос Цукато заиграл. — Это бесподобно!

— Что? — немудрёное вопросительное словцо растянулось змеиным „ш-ш“, словно не решаясь сорваться с языка, но не удержалось, рухнуло в омут запоздалой догадки коротким гулким „о“. — Что вы хотите этим сказать?

Граф медлил с ответом, с театральной печалью разглядывая собеседника. Так смотрят на сельских дурачков, прежде чем одарить их сушкой или копечкой. Да, собственно, ответа уже и не требовалось. Этот город был переполнен подсказками, которые Александр умудрился не заметить. Крылатый лев на гранитной колонне над площадью Сан-Марко, лев на фронтоне одноимённого собора, на кампанилле, на часовой башне, на фасаде и над воротами дворца дожей, на гербе и знамени... Крылатый лев как символ евангелиста Марка и символ самой Венеции. Лев святого Марка. Лев Марков. Самый венецианский псевдоним, простой и дерзкий. Оттого-то и решительный отказ от отчества, дабы расточительством звуков не замутишь кристальной чистоты обмана.

— Я так полагаю, что и Мура Буранова... — вымолвил Александр, расставляя между словами бесконечные паузы таящейся надежды.

— Да. Мурано и Бурано — венецианские острова. На первом делают знаменитое стекло, на втором плетут кружева. Виртуозно плетут кружева. А ещё на Бурано живут рыбаки. Какая аллегория вам милее: запутаться в кружевах или угодить в сети?

Из глубин памяти всплыл продавец с круглой лысиной и злорадным оскалом. *Vugano!* Как же можно было не понять, не насторожиться? Этот город — вот всему причина. Город-праздник, город-карнавал. Город-призрак, давно отживший отмеренный срок, но загулявший на собственных пышных похоронах. Город — не Европа и не Азия. Город, отрицающий время, пространство и логику. И подсказки его — всегда

насмешки. Пора учиться постигать потаённый смысл венецианских насмешек.

— Хорошо. Я был наивен. Но вы-то, граф? Вы же знали, что „Мура Буранова“ — не настоящее имя.

— Знал — неудачное слово. Не сомневался. Но и не спрашивал. Мало ли по каким причинам женщина скрывает имя. Не обязательно потому, что хочет вас обокрасть.

— Ещё вопрос: как вы меня наши? О моём пристанище знала только Мура.

— Неужто? А толпа карабинеров мне почудилась? Подумайте лучше, кто сообщил полиции. Не Мура ли?

— Мура на это неспособна.

— Э-э, да вы не бабник, — рассмеялся граф. — Вы просто влюбчивы. Лишь вера, искусство да любовь умеют доказывать недоказуемое и объяснять необъяснимое. И поскольку о вере и искусстве речь не идёт... Поверьте же чутью жандармского офицера.

Александр покосился на правившего лодкой кудрявого молодца.

— Вы готовы кругом подозревать предательство, только не у себя за спиной.

— Это вы о Джакопо? Кто же вам поведал о его соучастии? Мура или Лев Марков? Вернёмся лучше к вопросу о воровском дилетантизме. С чего это вдруг решили заняться не своим ремеслом? Обнищали? Или новых ощущений захотелось?

Александр не стал заператься и пересказал слышанную им версию о перстне, его ценности для русской истории и грозившей ему опасности.

Цукато развеселился ещё больше. Для только что обворованного у него вообще было прекрасное настроение.

— Ай да Мура! Нет, это не обман. Это мистификация. Я бы даже сказал, мифологизация. Для вас, именно для вас, была создана иная реальность. Новая и одновременно такая, где вы, как рыба в воде. Изысканное блюдо из тайн, опасностей и красивой женщины в придачу. Что может быть вкуснее? Правое слово, вам грех обижаться!

— Стало быть, ваш предок не давал приюта императору?

— Разумеется, нет! Едва ли несчастный Пётр вообще бывал в Венеции, — Цукато снисходительно

улыбнулся и вдруг добавил: — Не из того теста была Екатерина Великая, чтобы, отпустив свергнутого мужа за границу, даровать ему ещё и свободу.

— Что вы этим хотите сказать? — вскинул брови вконец запутавшийся Александр.

— Петра заключили в один из высокогорных православных монастырей на Балканах. Оттуда ему удалось бежать на адриатическое побережье. Там он нанялся в услужение какому-то черногорцу. Когда же слухи о необычном батраке распространились, венецианский губернатор тех краёв послал моего предка выяснять истину.

— И к какому же мнению склонился предок?

— Он написал в отчёте, что незнакомец имеет возвышенный ум и физиономию, весьма схожую с портретом русского императора. Но что совершенно его убедило, так это подаренный батраком перстень... Но мы приплыли. Отложим разговоры.

* * *

Если графа ещё не причислили к лику святых, то лишь по недосмотру. Привёз негодя в палаццо, распорядился насчёт горячей ванны. В дремоте, среди пара и мрамора мысль о побеге показалась совсем нелепой. Куда? Зачем? Его полувоенный наряд в стирке. Другой раз сигануть из окна, только уже голому? Смешно... И всё-таки зачем он здесь? Явился святой Иродион, принёс сменную одежду.

— Ну-с, господин преступник, облачайтесь. Жду вас в соседней комнате.

Одежда была не новой и для него слишком тесной, зато чистой, тщательно выглаженной и даже одеколоном пахла. И, судя по качеству, шил её на заказ хороший портной. Это было странно, потому что наряд самого Цукато, очевидно, происходил из недорогого магазина. Одевшись, гость не удержался от едкого замечания:

— Благодарю, граф! Нарядили меня краше, чем себя. Простите, но по вашему костюму сложно узнать владельца этого роскошного sklepa.

Улыбку Цукато спугнуть не удалось, зато на ответную колкость нарвался:

— Ну, вас-то в прокопчённом френче и в приличный ресторан бы не пустили.

— Разве меня здесь уморят голодом?

— Что вы! Вначале отменно накормят. А после подвезут за ноги и удавят.

— Подвезут и удавят? — переспросил Александр, холодея. — Что за дикость?

— Не дикость, а старинная венецианская традиция.

— Красивая традиция, нечего сказать!

— О, да! — обрадовался граф. — Здесь всё делают красиво. Могут вонзить стеклянный стилет в горло, вот так (Родион Петрович показал, как именно предательски хрупкое стекло войдёт в плоть человеческую), а после обломить рукоять (резкий поворот сжатого кулака по ходу часовой стрелки).

— Зачем же кинжал стеклянный?

— Так ведь мы в Венеции! К тому же стальной клинок сумеет извлечь и полковой санитар. А вот очистить рану от стеклянных осколков — задача не из лёгких.

— Весьма по-христиански.

— Во-первых, мы венецианцы. Христиане — во-вторых. Эта пословица родилась в тот самый год, когда отцы нашей республики благословили простаков-крестоносцев на погром христианского Константинополя. Вас же я приглашаю пока всего лишь отобедать с моим дядюшкой Игнацио. Кстати, вы интересовались, кто хозяин палаццо.

— Уже догадался, что не вы.

— Да, мы с вами оба лишь бедные российские изгнанники. Но в отличие от вас, я здесь наследник всех своих родных.

— Весьма перспективно.

Миновав анфиладу сумеречных комнат, они вошли в залу с уже накрытым для трапезы столом. Во главе стола восседал на резном готическом троне седой тощий старик в дорогом шевиотовом костюме. Яркий галстук с бриллиантовой искрой булавки не скрывал, а скорее подчёркивал разрушительное действие долгих прожитых лет.

— Дядюшка, позвольте представить человека, обворовавшего вас прошлой ночью. Синьор Александр Горский.

— Тоже русский? Ах, какая неожиданность! — язвительно обронил старик по-русски, но с сильным акцентом. Краем глаза Александр заметил, как

у младшего Цукато нервно дёрнулась щека. Оказывает, и клоуну не всё веселье.

— Мы не знали, что вы предпочитаете — мясо или рыбу, поэтому подали всё, — медленно роняя слова, продолжил дядюшка (ещё один святой?). — Вот ломбардская пресноводная рыба, а это пармская ветчина. Отведайте, всё это вкусно. А после, я уверен, племянник решит, что с вами делать, — Родион почтительно склонил голову. — Buon appetito!

Неужели всё-таки за ноги? Может, лучше не надеяться? Но есть очень хотелось. Непреодолимо. А вот от вина отказался наотрез. Нет-нет, гостеприимные синьоры, только минеральную воду. Со святыми бдительность лучше не терять. Разве что кофе с граппой на десерт?

Разговор за столом, между тем, шёл светский, пустой.

— Венеция — это не часть Италии, а особая цивилизация, — философствовал дядюшка Игнацио. — Весь смысл её зачатия, рождения, всей жизни заключён в отторжении от Апеннин. Мы даже не похожи на итальянцев. Они крикливы, шумны, суетливы. Мы же меланхоличны и любим полутона, недосказанность. Вы видели когда-нибудь спешащего венецианца? Где нет времени, там некуда торопиться. Зачем бежать, если всё равно окажешься на прежнем месте? Жизнь в Венеции — это ежедневная прогулка по соседним улочкам. По улочкам, знакомым с детства. Постоянно видишь одни и те же лица. Венеция — маленький город. Здесь только пешком или на лодке. О, эта бесколесная жизнь, как писал князь Вяземский. Я бы, пожалуй, уже не смог жить вне этой зыбкости бытия. Мне доводилось бывать в Риме, Милане, Париже и Петербурге. По ночам там невозможно уснуть из-за шума. А здесь тише, чем в любом материковом захолустье. Мы ведь не говорим о карнавале, да?

— Разумеется, венецианцы — это не итальянцы, — притворно согласился гость-невольник. — Я слышал, что в Италии вообще нет итальянцев. Пылкие неаполитанцы на юге, высокомерные пьемонтцы на севере... Где итальянцы, какие итальянцы?

— Ёрничать изволите? — встрепенулся Родион.

— Изволю. Я уже сыт, спасибо. Теперь хотелось бы узнать планы насчёт моей дальнейшей судьбы. О жизни бесколесной как-нибудь в другой раз.

Старик неспешно вытер бескровные губы большой белой салфеткой и встал из-за стола (откуда-то выскочил Джакопо и услужливо отодвинул трон патриарха).

— Не стану мешать вашим беседам. Рад был познакомиться, синьор Алессандро.

Молодые люди поднялись следом. Когда старик удалился, Родион плюхнулся обратно на стул, налил граппы без кофе в стеклянный тюльпан бокала и выпил почти залпом. Поморщился:

— Тёплая... Что ж вы дядюшке-то моему дерзите? Не понравились его разглагольствования? Надо терпеть. Не все венецианцы пишут стихи, но все они поэты.

— Да, я помню о стеклянных кинжалах.

— А вы злой!

— А вы добрый. Только убить меня грозитесь.

— А вы нас обокрали!

— Стало быть, мы подходящая компания.

— Вот и я о том же. Как вы думаете, что злоумышленники сделают с перстнем?

— Полагаю, попытаются продать тому, кто даст наивысшую цену.

— И кто же это? — вопрос был игриво-риторическим, ответ молодой граф уже знал. — Цукато, разумеется! Мой дядюшка Игнацио. Он старомоден, он самых честных правил, он сделает всё, чтобы вернуть фамильную реликвию. И ни в каком заливе он её топить, конечно же, не собирался. — Родион плеснул граппы в пустую кофейную чашку, кинул туда кусочек сахара, разболтал и проглотил. — Так-то лучше. Утром на квартире прелестницы мы с Джакопо обнаружили записку о том, где, когда и за сколько нам готовы возратить перстень. Сегодня вечером, уже сегодня вечером.

— Стало быть, разлука с семейной реликвией будет недолгой. Рад за вас.

— Не спешите радоваться. Без вас не обойдётся. Вы уже втянуты в чужую игру, так хотя бы получите от неё удовольствие. Amor fati, как говорили стоики. Джакопо!

Кудрявый был тут как тут. Вышел из тени с армейской винтовкой наперевес.

А обещали, что будет красиво...

— Ладно тебе, шут гороховый! Подай винтовку сюда, — махнул рукой Родион и пояснил для Александра. — Он ведь, кроме как из своего потешного арбалета, и стрелять-то не из чего не умеет.

— Кто же в меня ночью палил из револьвера?

— Ваш покорный слуга! — расплылся от удовольствия граф. — На ваше счастье не попал. Но не отвлекайтесь от этой красавицы. Незнакомая машинка?

— Незнакомая, — кивнул Александр. — Знакомая русская трёхлинейка-мосинка.

— Рад представить вам американский „Спрингфилд“. По сути, тот же „Маузер“, но в заокеанском исполнении. Отличные рекомендации с полей Великой войны. Пять патронов в обойме. Отменная точность. К тому же, как изволите видеть, данный экземпляр снабжен оптическим прицелом. Не промахнетесь!

— Не промахнусь, позвольте узнать, в кого?

— Надеюсь, что ни в кого. Но нас с дядюшкой нужно подстраховать. И ежели что-то во время встречи пойдёт не так, вы подстрелите мнимого Маркова. По меньшей мере, раните. Хотя не ограничиваю. Я так понимаю, что симпатий он у вас не вызывает?

— Не вызывает. Но почему вы думаете, что на встречу придёт именно он?

— А вы о ком думаете? О Муре? Забудьте, едва ли вы её ещё увидите.

Александр протянул руку:

— Позвольте?

— Разумеется, — граф передал винтовку. — Мосинку знаете, так и с этой легко разберётесь. Только вот пристреляться не успеете. Патроны получите уже на месте.

— Позиция? Дистанция? — потенциальный стрелок отвёл ствол в сторону и прищурился.

— Вы будете на третьем этаже, мы внизу на площадке. Прямо перед вами.

— Надеюсь, это не площадь Сан-Марко?

— Что вы! Всего лишь маленькая венецианская площадь. Кампьялло.

Александр поднял массивную рукоять затвора вверх и потянул на себя. Казалось, открывшееся пустое металлическое лоно жаждало патронов.

— И, правда, красавица. Не боишься, что когда она будет заряжена, я просто уйду?

Родион Петрович подался вперёд, навалился грудью на край стола и выдохнул:

— Не боюсь. Джакопо присмотрит. Джакопо и его верный арбалет.

* * *

Кажется, этот дом отсырел насквозь. Третий этаж, а по всем углам серо-зелёные пятна плесени. Из мебели в комнатке всего лишь одна кровать, да и на той простыни влажные. Зато насчёт вида из окна молодой граф не обманул. Отличный венецианский вид, он же сектор обстрела. Маленькая мощённая серым камнем площадь, меж камнями там-сям чахлые пучки травы. Всего два входа-выхода: через один войдут оба Цукато, через другой — якобы Марков. Посреди площади старинная каменная цистерна для воды, закрытая металлическим люком. За такой и одному человеку не спрятаться.

Александр повернулся к Джакопо и кивнул. Пора, мол. Итальянец поспешно извлёк из кармана пластинчатую обойму, надавив большим пальцем сверху, загнал патроны в магазин. Передал винтовку и тотчас схватился за арбалет. Александр усмехнулся: на фронте его визави был едва ли. Слишком нервный. В остальном счёт не в пользу Александра. Джакопо за спиной, да и арбалет в такой близости страшной винтовки.

Занял позицию у окна, и то ли время замерло, то ли мысли зачастили. Ситуация гадкая, а, главное, непонятная. Когда б велели стрелять на поражение, то и не сомневался бы, что вслед за пулей в Маркова полетит арбалетный болт в его собственный затылок. А тут: хочешь стреляй, не хочешь не стреляй. Получай удовольствие по примеру стойков. Да и „Спрингфилд“... Венеция и „Спрингфилд“. Не клеится как-то.

Вновь скосил глаза на Джакопо:

— Что ж ты, балда итальянская, по-русски не говоришь, а? Поведал бы, что вы тут затеяли. Друг мой Никола Морович предупреждал, что все вы продувные бестии.

Однако надо быть внимательнее: во двор уже входил Цукато самых честных правил и за ним Цукато всех своих родных. Шлёпнуть бы обоих дуплетом, получить заслуженный болт, да и покончить с этой

канителью. С другой стороны, и на дядю Лёву сквозь увеличительную оптику соблазнительно полюбоваться. Ты де меня по голове фонарём, я тебя прицелом. А вот, кстати, и... Мура. Почему Мура, зачем тут Мура? Неужели Марков послал её одну на столь рискованную встречу? Родня он ей или не родня? И если сам не пришёл, то где он? Почему Мура не подходит к Цукато? Почему Родион пятится от Игнацио? Что ещё за хороводы племянников с дядьями? Додумать Александр не успел. Раздался хлопок, словно по площади кнутом ударили. Голова Игнацио дёрнулась, старик взмахнул невесомыми руками и плашмя повалился на спину. Родион и Мура, замерев в разных концах площади, молча смотрели друг на друга.

И тут Александр понял всё. Это было не догадкой, а озарением, вспышкой. Отблеском выстрела, если угодно. Он не просто пешка в чужой игре, но пешка, не ведающая правил. Старый граф только что убит, и молодой получит богатое наследство. Убийство, конечно, повесят на Александра. Лучшее доказательство — он сам, собственной персоной у окна с винтовкой в руках. Разумеется, в мёртвом виде. Значит, за спиной убийца. И если молодой Цукато честен с сообщницей, то шансов спастись никаких. Патроны в „Спрингфилде“ негодные, скорее всего, варёные. Но если гибель Муры допускалась как возможная или даже желательная, то винтовка заряжена как надо... Вернуться назад, нажать на спусковой крючок было делом одной секунды. И вовремя: Джакопо уже метился. Пуля вошла ему в грудь и прошла насквозь. Смуглый красавец опустил оружие, коснулся свежей раны кончиками пальцев и мягко осел на пол. Физиономия его выражала скорее удивление, чем боль.

— Надеюсь, парень, что тебя быстро доставят в больницу, — сказал Александр и подхватил арбалет. Зачем сказал? Бесплезная заплутавшая жалость. Всё равно раненый по-русски ни бум-бум.

Повесив винтовку на плечо, поручик выскользнул в коридор. Двигался быстро, бесшумно. Предметы вокруг мгновенно выцвели, зато виделись теперь рельефнее, чётче. Слух обострился, и всякий шорох стал важен. Он вновь был на войне, он занимался привычным делом. В соседней комнате послышалось какое-то движение. Поднял арбалет на уровень глаз и толкнул дверь. Посреди комнаты замер

мнимый дядя Лев с точно таким же „Спрингфилдом“ в руках, как и у самого Александра. Жёлтые глаза Маркова округлились, и в тот же миг короткая толстая стрела пригвоздила его ладонь к ореховому ложу винтовки. Гримаса исказила лицо мужчины, но он, вероятно, ещё недавно был военным и не разучился терпеть боль. Только зубами заскрежетал.

— Твоя взяла, Горский! Что теперь? Добьешь?

— Ни в коем случае, — покачал головой Александр. — Не хочу, чтобы полиция рыскала за мной по всей Европе. Но за убийство старика придётся ответить. Едва ли те двое на улице станут вас выгораживать. Напротив, если раненый Джакопо не выкарабкается, то на вас повесят ещё и его труп. Иначе будет мудрено всё это объяснить. Меня ведь в Венеции как бы и не было. Впрочем, можете попытаться утащить подельников за собой. Несправедливо им наслаждаться богатством, пока вы будете гнить в тюрьме. Искренне желаю удачи!

Александр повернулся, чтобы уйти, но Марков его окликнул:

— Эй... Признай же, чёрт подери, что это была красивая афера!

— Может быть. До тех пор, пока не пролилась кровь.

Тут бы и конец разговорам, но у лже-Льва вдруг началась истерика.

— Куда, куда ты идёшь? — кричал он вслед Александру. — Вытащи меня отсюда! Не оставляй меня с ними. Поручик! Ты такой же, как я. Ты, как матью, вскормлен войной. И она тебя никогда не отпустит...

Александр покинул дом через чёрный ход и, очутившись на пустынной улочке, швырнул арбалет и „Спрингфилд“ в мутные воды канала. Два всплеска, стайка резвых пузырьков и радужное пятно ружейной смазки.

Finita la commedia.

* * *

Утром он отыскал в портовой таверне Николу Моровича.

— Опять в бега? — усмехнулся бывалый мореход. — Что, братишка, не по вкусу пришлась венецианская кухня? Или не по зубам?

Александр махнул рукой:

— Венеция тут ни при чём. Повстречал соотечественников, да не тех.

— Венеция всегда при чём, — возразил Моревич. — Что ж, матросы нашей посудине нужны. Только путь наш теперь недалёк — на тот берег Адриатики, в Сербское королевство.

Александр кивнул и уселся напротив. Сербия, Черногория, Албания Венета.

— Сойдёт. И ты ещё раз перевезёшь меня через границу?

— Там моя родина. Уж если я вывез тебя из России без внесения в судовой журнал и тайно высадил на итальянский берег... Но на этот раз придётся платить.

Казавшийся таким простым и ясным план спасения вдруг повис в воздухе.

— И сколько теперь будут стоить твои услуги?

Моревич поводит взглядом по сторонам, почесал в затылке и, не спеша, ответил:

— Ну, положим... Видишь ту бутылку кьянти? Нет-нет, не эту, а вон ту оплетенную соломкой пузатую флягищу? Думаю, этого хватит, чтобы вернуть расположение бригады корабельных кочегаров.

Шкерин Владимир Анатольевич. Родился в 1963 году в пригороде Ленинграда. В детстве-юности жил на Литейном проспекте, на Западной Украине, в Одесской области, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Взрослая жизнь связана с Екатеринбургом. Доктор исторических наук, автор научных монографий, учебных пособий, научно-популярных книг и многочисленных статей. Прозу публиковал в журнале „Вести“ (Екатеринбург).

Элина Свенцицкая

ЧЕТВЕРТАЯ МОЙРА

В какой-то день, в какой-то миг я стала ощущать, что за мной кто-то все время наблюдает, кто-то караулит каждое мое движение. Первое, о чем я подумала, — крыша поехала, это мания преследования. Однако уже тот факт, что я понимаю всю ненормальность происходящего, да еще и диагноз себе ставлю, заставил меня отказаться от этой версии. Нет, не мания преследования, все на самом деле: вот я просыпаюсь — и сразу чувствую на себе этот взгляд, грустно иронический, слегка сочувствующий, но жесткий и спокойный. Под этим взглядом я стараюсь поскорее и поаккуратнее заправить кровать, хотя вообще-то мне это не свойственно, обычно я люблю поваляться, а кровать заправляю эпизодически, я же, в конце концов, у себя дома. Под этим же жестким взглядом я сразу делаю зарядку... понимаю, что это зрелище не для слабонервных, но ничего не могу поделать. Однако еще труднее под этим взглядом умываться и совершать прочие процедуры, при которых наблюдатель, в общем-то, не предусмотрен — это самое ужасное в моей новой жизни.

Но можно сделать умное лицо и о чем-нибудь подумать. Ведь интересно же наблюдать за думающим человеком: у такого человека обычно очень глупый вид. Но о чем тут можно думать? Разве что — гадать, кто он — этот странный наблюдатель? Как ему, наверно, смешно, наблюдать за тем, как я думаю, кто же это за мной наблюдает...

Может быть, он на самом деле писатель, и пишет обо мне... А что обо мне можно написать? Я же такая легкая, славная и шутливая — и всегда была такая, всю жизнь, а еще я очень наивная, и до сих пор наивная, в свои сорок восемь лет верю в принцев и спасаю бездомных котят,

и так долго в моей жизни ничего не менялось, что душа моя превратилась в дырявую тряпочку. Поэтому роман обо мне трудно написать, разве что — несмешную юмореску. Но ведь можно! А писатели — на самом деле они все шпионы. Они только и делают, что подслушивают и подглядывают, а потом все это записывают и печатают — просто ужас!

Но как у меня дома мог завестись писатель? Муравьи вот недавно ползали, так я их всех вывела, и тараканов всем подъездом потравили... Но кто-то же, однако, за мной наблюдает и зачем-то это ему нужно! Я это чувствую, чувствую каждую минуту! Напряжение воздуха, легкое колыхание штор от чьего-то движения, тихое кружение белого перышка посреди комнаты — и вдруг со стола падает книга, и снова все как было.

С этого момента я стала по-новому смотреть на весь свой жизненный обиход. Прежде всего, я решила каждый день пить чай. Чай я вообще-то не очень люблю, мне нравится кофе, но я заметила, что все интеллигентные люди время от времени пьют чай и размышляют о чем-нибудь возвышенном. Мне непонятно, в чем прелесть этой теплой водички, даже если со вкусом травы, но я решила пить — для вида, для тона.

Но этого было мало. Начав пить чай, я поняла, что тот, кто за мной следил, был не писатель. Писателю, наверно, хватило бы моей скромной и одинокой жизни — он бы мог из этих моих безумных чаепитий создать хороший рассказ со множеством аллюзий и реминисценций — и сделать паузу в своих наблюдениях.

Но нет. И это был взгляд не писателя. Это было другое — нечто беспощадное и жадное, требующее чего-то конкретного. И все изменилось.

Судьба схватила меня и поволокла неизвестно куда, и выбросила из квартиры, утащила с работы и из страны, и забросила меня в чужой город к совершенно чужим людям. И оказалась я в съемной однушке, денег нет, работы нет, и какой-то чужой мужчина дышит рядом. Судьба заставляла меня бегать по ледяным улицам в поисках неизвестно чего, не замечая ни редких прохожих, ни сочувствующих собак, и что листья пахнут, как полуразложившиеся трупы.

И чувствовала каждую минуту этот проклятый взгляд, от которого мурашки бегали по спине и подташнивало, и, конечно, убила бы того, кто так смотрит, если бы знала — кого можно убить. Ну ладно, думала я, это судьба...

И еще я думала, что художники очень жестокие люди. Чего они от нас хотят? Вот жила я, никого не трогала, поживала себе в своем уголке, милая и наивная, но ведь надо было выковырять меня из моей конурки, вышвырнуть из домика. Просто из любопытства, чтобы посмотреть — как я буду копошиться, вертеться, лапами шевелить... И хоть бы знали — чего хотят, зачем они это делают?

Вот кому от этого лучше, что все увидят меня, увидят, что у меня сапоги промокают, куртка потертая, а свитер растянулся? И что старше я стала лет на двадцать и страшнее в сто раз? А я живой, между прочим, человек, и совсем мне не надо, чтобы все знали, что у меня курточка одна на все времена и дырявые колготки. Ночами я плакала — просто слезы валились из глаз и я никак не могла уснуть. Я молилась — но кому молиться?

Тут я вспомнила, что были когда-то богини судьбы — мойры и парки, они пряжу пряли и нити обрезывали. Старенькие вроде были, но беспощадные, сидели где-то далеко, на небе... Я постепенно засыпала, и тихо плыли облака прямо над моей головой, и летели осенние листья, пахнувшие корицей, и падали перерезанные нитки — красные, желтые, зеленые...

Утром я проснулась и стала зашивать колготки, перекусывая нитку, как мойра, у которой затупились ножницы.

И вот тут он, художник, наконец поймал меня. Он меня нарисовал — и жизнь моя в этом мире закончилась. А картина называлась „Мойры“.

И вот теперь я — Мойра, богиня судьбы, и живу я вместе с другими мойрами там, на небе. Я думала, что на небе ничего нет — и была не права. Вот он, наш ветхий сарайчик под низкой крышей, полный мышами и другими Божьими тварями, все как у всех — продавленный диван, обязательно лыжи и зеркало, потускневшее от всего увиденного. Вот там и сидим мы вчетвером на маленьких табуреточках — четыре старые дуры-мойры. Одна мойра прядет, другая — нитку скручивает, третья — обрезает, ну а я все за ними подметаю, что они насорят. Мусорные эти старухи, что поделаешь... В общем, у нас тут курсы кройки и шитья со смертельным исходом.

И к тому же мы на карантине, так что к нам никто не ходит. Хотя раньше тоже никто не ходил. Все говорят, что наш мир изменился и уже никогда не будет прежним. Но мне кажется, что это только так кажется. Если вдуматься, все осталось как было, и нет ничего нового под солнцем, бледным и медленным, и под этим серым небом — выцветшей занавеской, за которой давно уже никто не заглядывает, потому что ничего там интересного нет. Нет, мир не изменился, и по сути нет ничего нового, чего не было бы раньше. И пандемии случались, но и без всяких пандемий: посторонних надо остерегаться — это естественно, сохранять дистанцию — очень полезно для здоровья, особенно психического. Разве что маски не носили, но если вдуматься — носили всегда, только изображали их из своего лица, примеряя каждый день разные лица — чтобы было и по погоде, и к месту, и к костюму. Маска только удобнее — лица не видно. В общем, не изменилось ничего, только то, что было раньше не очень заметно — стало очевидным и безусловным. Что-то новое есть только для тех, у кого плохая память, — счастливые это люди!

К нам в сарайчик только иногда залетают осенние листья, они пахнут дымом и тоской, а еще почему-то горячим чаем.

— Вот бы чайку попить... — говорит одна из нас. Как ее зовут?

Нет у нее имени. Ни у кого из нас нет имени. Кто помнит, как нас звали? Да никто уже не помнит, а если и помнит — то не зовет.

Вот что страшно — на самом деле никто ничего не помнит. Почему никто ничего не помнит? Ладно бы — только вот эти вот глупые наши чайные ложечки, чашки с отломанной ручкой, поломанные будильники, их-то давно уже пора выбросить отовсюду — и из сарая, и из памяти. Это ведь все мелочи, если вдуматься. Но никто ничего не помнит — прошлое, как огромная рыба, погружается под воду, зарывается в ил, и в голове все чисто и светло, и вчерашний день покрывает утешительная мгла. Никто ничего не помнит — и можно все начинать сначала, и не думать о том, что сделал и сказал несколько дней назад, и гулять по садам, где цветут розы забвения, и отвыкать от себя и своей прошлой жизни. Ведь от всего можно отвыкнуть. Даже отвыкнуть быть человеком. Вот я уже привыкла быть мойрой, привыкла подниматься ни свет ни заря и брать в руки веник, и надвигать платок на самые глаза, и садиться на маленькую табуреточку передохнуть, и бормотать про себя:

— Вечно у вас тут бычки накиданы, лушпайки набросаны... Вечно у вас бардак, зла не хватает... когда уже будете как люди?

Но вот самое горькое, что память вдруг взъерошивается, и плывут запахи и звуки из прошлой жизни, из покинутого дома, и сердце разрывается, и горло давит, и слезы градом, потому что — больше никто и никогда не назовет меня Аннушкой.

ПОРОСЯЧЬИ ГЛАЗКИ

— Тьфу-тьфу-тьфу, порослячьи глазки, отдай, что взял!

Это у меня вместо доброго утра. Поплевала в угол, сказала, проснулась. А теперь надо вспомнить — что же я потеряла? Ведь не бывает такого, что жизнь — вот она, есть, а в ней ничего не теряется.

Когда-то по молодости я теряла девичью честь — регулярно, семь раз. А добрые люди мне ее возвращали. Но в конце концов ведь удалось! Так с тех пор и ведется — терялись очки, часы, паспорт два раза — один раз свой, один раз чужой. А сколько потеряно ручек, ключей, колец, цепочек, мыслей, возможностей и надежд...

Один раз я потеряла страну, два раза она меня теряла. И уж не знаю, к моему ли сожалению, к ее ли — нашла. Впрочем, в тот момент она могла потерять куда более серьезные вещи — и потому перестала обращать на меня внимание. Я старалась ей не мешать...

А два дня назад я потеряла носочек — очень хороший носочек, мягенький, тепленький, шерстяной, он мне жизнь спасал. Как же я теперь — без носочка и без жизни? Лучше б я еще раз паспорт потеряла — чужой! Что только я ни делала, где только ни искала! Все комоды и шкафы перерыла, кошку допросила с пристрастием... Оставшийся носок по квартире бросала — ну, чтоб привел свою пару. С лозой все углы облазила два раза, а может, и три — уже и позабыла. А ноги холодеют, а мысли стынут, а глаза закрываются, и руки все свечку нащупать норовят. А в голове все вертится что-то из Библии: „Мене, мене, текел, упарсин, носочек, носочек, иди ко мне...“ И тапочки у меня белые — к чему бы это? Такое ощущение, что жизнь куда-то теряется.

И вот я, вся такая потерянная, забрела к ведьме. Она этажом выше живет и все время меня заливает. Марина ее зовут или баба Аглая, не помню точно. Глянула она на меня — и говорит человеческим голосом:

— Шановні депутати, на порядку денному — питання про національну пам'ять...

Ну, это не она сама, как я потом догадалась, а телевизор, включенный на полную громкость. А ведьма — что ведьма? Хорошая баба, по Библии всех лечит, по матушке посылает. Вот и меня научила, что говорить, если что-то пропадет.

— Тьфу-тьфу-тьфу, порослячьи глазки, отдай, что взял!

Вот эту фразу я повторяю ежедневно, по утрам. И носочек нашелся — в кастрюльке с макаронами.

А вместе с ним — три кольца, две пары часов, паспорт — правда, чужой. А моих — аж две штуки, на 16 и на 40 лет — на антресолях рядом валялись. Цепочка свекрови нашлась в сливном бачке, книжка стихов с подписью автора — в песочке у кошки. Три кастрюли — под кроватью, там же порванные кеды со школьных времен. Любимая игрушка в виде маленькой обезьянки — я по ней так долго рыдала. Ручки. Блокноты. Книги. Ключи. Третий муж отыскался в шкафу, два года найти не могла, уже третий год мечтаю потерять обратно. Он так мне и сказал, когда выполз из шкафа:

— Ты не поверишь — счастье искал, но так и не нашел... Видно, в море унесло.

Людей я стала находить — странных. Подходят ко мне и говорят:

— А ты записалась добровольцем — волонтером — сестрой вечного милосердия? (нужное подчеркнуть). Ты почему не хочешь никуда записываться? Все записываются — и ты записывайся. Время сейчас такое: не запишешься — себя не найдешь.

И нет им конца — находкам, открытиям, обретениям, обнаружениям.

И нет им конца — найденным, открытым, обретенным, обнаруженным.

И куда мне от них деваться? И чувствую я, что теряюсь. Но нет — не находятся мои мозги в кастрюльке с макаронами, и не находятся мои чувства в сливном бачке, хоть я его полностью развинтила, и нет моих возможностей ни под кроватью, ни в шифоньере, и нет моих надежд на антресолях, хоть я их все по вещичке перебрала... Разлетелось у меня все — не собрать, не осталось у меня ни кусочка.

— Тьфу-тьфу-тьфу, поросычьи глазки, отдай, что взял!

Что я сегодня потеряла? Забыла... Куда-то задевалась память, причем уже давно, а я только сейчас это поняла. Где я только не искала — мешок пылесоса весь перебрала четыре раза, кош-кин песочек перетряхнула и все старые фотографии, на работе искала и на улице у всех спрашивала... потом, правда, забыла, о чем спрашивала.

И вот — расстилается передо мной белая-белая полоса, а на ней — ничего и никого. Только иногда вдруг какие-то тени... Детство... простуда... я лежу под тяжелым одеялом, а возле меня мои любимые игрушки — мишка и поросенок розовый, ушки желтые, глазки круглые, голубые. Вот они — поросычьи глазки, вот кто все прячет, чтобы поиграться, а потом все подсовывает в самые неподходящие места!

И вот так всю жизнь — бегают нежно-розовые поросыта с круглыми голубыми глазами по зеленому лугу нашей памяти, поросшему сурепкой, спорышом и амброзией.

ТЩЕТА ПАМЯТИ

Какие могут быть счета с детством в пятьдесят девять лет? Уже такой возраст, до которого могла бы и не дожить, старость дышит в затылок тихим и трудным дыханием, пора поумнеть, и все, что было и чего не было, сложить в какую-нибудь большую коробку, положить на антресоли и пусть лежит там до лучших времен, в мире и спокойствии. Но лучшие времена никогда не настанут — это уже понятно почти старому усталому человеку, и мурашки уже не бегают по коже в ожидании неизвестно чего.

И правда — какие могут быть счета? Уже давно пора смириться и примириться, потому что если к этому почтенному возрасту не будет мира — что же тогда будет? Мир должен быть — серые голуби стонут за окном и клюют дорожную пыль, солнце садится за облезлую девятиэтажку, где-то вдали слышен детский голосок: „Танька! Сучка! Отдаааай“...

Мир должен быть — но нет... И одним прекрасным утром человек ползет на кухню, медленно вглядывается в прозрачные окна с видом на мусорные баки, любуется белой блестящей газовой плитой, шкафчиками, в которых все разложено по полочкам, — и открывает эти самые антресоли. И вот оно, детство, вдруг валится оттуда, сыплется всеми своими сломанными игрушками, заношенными куртками, стоптанными сапогами,

слезами и страшными сказками о жизни. И что с ним делать? Куда его теперь?

Тогда человек садится у окна. Нет, он не вспоминает — потому что убедился в тщете памяти, ведь то, что помнится, похоже на то, что было на самом деле, примерно так же, как памятники похожи на своих прототипов. Короче, воспоминания — это только тоска по ушедшему, которого нет нигде, — и не надо тешить себя иллюзиями. Но человек все равно сидит у окна — он просто переживает. Переживает свою жизнь.

Предположим, что этот человек женщина — просто для удобства того, кто рассказывает об этом человеке. В детстве ее звали Манечка, и бабушка ее очень любила, и была еще строгая мама, и маячил где-то на горизонте непонятный отец с суровым лицом, и опасный мир вокруг, в котором может случиться все что угодно, а между ними и Манечкой расстилается глухая и тревожная тайна. И все это она пережила.

И потом она выросла — и звали ее Марианной. Юность у нее была красивая и таинственная, как у всех — курила днем и ночью, водку пила стаканами. Естественно, сочиняла стихи и выходила замуж. Пережив несчастную любовь, остриглась налысо. Через несколько дней ей сказали, что у нее слишком развиты височные бугры, а это нехорошо для ее ego, а еще вдавренность бугра служения указывает на склонность к бюрократизму. А она думала, что не идет ей все это, и когда ее голова стала покрываться черным колючим ежиком — она поняла, что хватит с нее, и стала носить на голове черный чепчик с кружавчиками, который ей, конечно же, шел, хотя и люди оглядывались, а однокурсницы говорили:

— Какая интересная шапочка... Ты как будто бы из прошлого века!

— Я и есть из прошлого века, только ради этого стоит жить, — отвечала она.

Но волосы отросли, а чепчик с кружавчиками куда-то потерялся. Марианна искала его везде, очень уж был хороший чепчик — как корова языком слизала.

— Как корова языком слизала, — бормотала она, выбрасывая из книжного шкафа

книги. — Но зачем корове лизать мой чепчик? И где же эта странная корова?

И это Марианна пережила. И начала взрослеть. И так повзрослела, что стала поэтессой и матерью-одиночкой с дочкой и внучкой, и звали ее Мариэтта. И теперь она вращалась в самых высших кругах самой исключительной богемы города Старобешево, которая всегда тусовалась в подвалах, и даже если вдруг в их распоряжении оказывалось нормальное помещение — оно сразу же превращалось в подвал. Тут бы она очень хорошо смотрелась в своем черном чепчике — но как она ни старалась заказать новый, ничего похожего не получалось. Приходилось рыться в секундах, находя то винтажное платье с изображением Че Гевары на груди, то брюки с колокольчиками, то купальник в горошек. Но однажды она начала писать стихи на латыни — самое интересное, что латыни она, конечно же, не знала, но когда ее осеняло вдохновение — слова всплывали откуда-то из глубин и сами слагались в стихи. И однажды она пригласила своих богемных друзей, заявив, что больна, а когда они пришли с цветами и фруктами, села на кровати в позу лотоса, что уже само по себе было удивительно. Но когда она, сидя в позе лотоса, стала читать стихи на латыни — никто ничего не мог понять, все сидели в полуобморочном состоянии, тем более, что читала она громким голосом и вдохновенно глядя в потолок. Закончив, Мариэтта объяснила, что стихи эти были посвящены современной Украине, и все должны запомнить эту гениальную строчку: „Горе Украине, горе!“ И это она пережила.

Потом ее звали Марина. И дожила Марина до войны. И надо было уезжать из маленького города и начинать все сначала где-то в большом мире, полном неизвестности и страха. Улицы были пусты. Друзья затаились и не выходили на связь. Стихи не писались. Дочка плакала. Одна жизнь была закончена, а новая не начиналась. Книжный шкаф был пуст, и раскрытые дверцы беспомощно болтались. Стулья сбились в кучу, как испуганные олени. Пола не было видно — он весь завален бумагами, фотографиями, которые уже

не нужны, детскими рисунками. Шагов не слышно — кажется, что ходишь по трясине, ноги утопают в бумажной мякоти, а под ними почему-то хрустит стекло.

Но и это пережила она. И теперь ее зовут баба Муся. Она часто лежит в постели и ждет — то ли смерти, то ли звонка внучки. Жизнь коротка, а краткость, как известно, сестра таланта. Только вот — зачем ему такая сестра? Краткость ведь бывает такая медленная, как прогулка улитки по мокрым листьям. Вот и чепчик нашелся — черный, с кружавчиками, валялся в кармане старого пальто. И глядя на этот старенький, потрепанный чепчик, перебирая его кружавчики, Муся вдруг подумала: а было ли все, что с ней было? В самом деле — зачем ей было стричься налысо? Может, она и не стриглась... И какие могли быть стихи на латыни, если сейчас у нее из латыни в памяти только „Catilinapotentianostra“... И вся старобешевская богема не восхищалась ее стихами? И не уезжала она никуда? Вот дочка у нее есть — но откуда? Может быть, все было совсем не так... Только вот он — черный чепчик, вот растрепанные кружавчики... И глядя это выцветшее кружево, Муся вдруг увидела то, что она переживала, — кусочки, лоскутки — и поток света, льющийся между ними и уносящий их далеко-далеко, туда, где по безмятежным холмам сбегают веселые ручьи, где небо наклоняется к земле над пышными пастбищами. Там она увидела корову, которая когда-то слизала языком ее чепчик.

Только не все ли равно теперь? Ведь все, что было, — в сущности, не жизнь, а ветер.

Элина Свенцицкая, Киев. Писатель, поэт, литературовед. Автор восьми книг: „Из жизни людей“ (проза и стихи), „Пустельні риби“ (стихи), „Простите меня“ (проза), „Білий лікар“ (стихи), „Проза життя“ (проза), „Триада рая. Проза життя“ (проза), „Мої шедеври“ (проза), „Речі, що лишилися від дому“ (стихи). Стихи и проза публиковались: „Новая юность“ (Москва), „Новое литературное обозрение“ (Москва), „Комментарии“ (Москва), „Крещатик“ (Киев), „Collegium“ (Киев), „Донбасс“ (Донецк), „Дикое поле“ (Донецк), „Соты“ (Киев), „Перевал“ (Ивано-Франковск), „ШО“ (Киев), „Радуга“ (Киев), „Новый свет“ (Торонто), „Гостиния“ (США), „Континент“ (США) и др. Лауреат I премии Фестиваля малой прозы (Москва), премии Украинской библиотеки г. Филадельфия (США), Литературной премии „Планета поэта“ им. Л. Вышеславского, фестивалей „Art way“ (Харьков), „Культурный герой“ (Киев), IV Международного конкурса короткого рассказа „Zeitglas — 2015“, III премии Международного конкурса короткой прозы „Без границ“ (Барселона, 2017, Одесса, 2019), лонг-лист Международной литературной премии им. И. Бабеля (2018, 2019, 2020). Лауреат Литературной премии им. М. Волошина (2019). Неоднократно принимала участие в „Сакура-фесте“, „Книжном Арсенале“, Book Forum во Львове и других мероприятиях. Член Национального Союза писателей Украины.

Виталий Орлов

ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ

На ВДНХ есть кафе „Дельфин“. Оно работает много лет и видом напоминает советскую столовую. Такие же подносы, которые двигают по рельсам. Незамысловатые, но калорийные блюда. Есть одна особенность. Там — наливают. За стойкой — нальют и водки, сколько надо. И коньяк, если человек не без претензий. Очереди с утра почти нет. Недалеко от кафе — космический корабль „Буран“, словно памятник несбывшейся мечте.

Дальше — уединённые скамейки. На одной сидел я. На другой девушка, которая, судя по всему, недавно покинула „Дельфин“. Рядом с ней — дурацкий прокатный самокат. Похоже, он был ей совсем не нужен. Просто взяла, потому что все так делают.

Девушка уже несколько минут разговаривала сама с собой. Я прислушивался к её бессвязным речам.

— Тридцать лет! И — никого. Это как?

Выглядела она, для тридцати, совсем неплохо.

— Даже любовника приличного нет. Скажите, — она обратилась ко мне. — Это — нормально?

Я не знал, что ответить.

— И ведь не уродина! Не хуже других. Я — не хуже других? — продолжала она. — Что вы молчите?

Девушка встала со своей скамейки и уселась рядом со мной. — День рождения, а я нажралась. Да! Вот в этом вонючем „Дельфине“! А меня, между прочим, на работе ждут. Будут поздравлять, дарить подарки. Вы, наверное, сейчас уйдёте. Я опять останусь одна. Вот, и не уходите. Вам — противно на меня смотреть?

Она отпила „колу“ из бутылки.

— Я просто — трудно схожусь с людьми. У меня на голове... „венец безбрачия“. Видите на мне венец? — Она задумалась. — Надо выпить кофе и протрезветь.

Мы познакомились. Её звали Юля. Она была медсестрой и жила в Лыткарино. Есть такой город за

МКАДом. Она рассказывала о себе торопливо и сбивчиво, как человек, который боится, что его перебьют. Юлин отец, бывший прапорщик, работал охранником в „Магните“. „Тяжелое детство, деревянные игрушки, папа прапорщик“, — вспомнилась глупая поговорка. Мама официально числилась безработной и обитала летом в деревне, где непрерывно закручивала банки с домашними консервами.

Юля сказала, что живет только на зарплату и не имеет „спонсоров“. Очевидно, она считала это своим недостатком. Подруг нет. Женщины её не интересуют. Её интересуют мужчины. Но... мужчинам она не нравится.

Я вглядывался в свою собеседницу и ничего, вызывающего отторжение, не мог заметить. Высокая, спортивная, с правильными чертами. Блондинка. Но ведь не все же блондинки дуры? По моим наблюдениям, они даже умнее других. Её лицо и фигура чем-то напоминали манекен. А манекены обычно — привлекательны. Во всяком случае, они никогда не выглядят отталкивающе. Кто бы стал тогда делать покупки? Её одежда, излишне аккуратная, сидела идеально.

Опьянение прошло, видно не так много она и выпила, но внезапно прорвавшаяся раскованность оставалась. Она взяла мою руку и держала, будто боясь, что я уйду.

„Девушка Прасковья, из Подмосковья“. Юля была хорошей девушкой из Подмосковья. Со знаком плюс. Она не употребляла отвратительных словечек. Всяких: „вкусняшек“, „печенек“, „по жизни“, „в крайний раз“. Я подозревал, что на её коже нет татуировок, а в груди — силикона.

Она спросила, где здесь туалет. Я сказал — почти у нас за спиной. Она вышла оттуда минут через пять, посвежевшая, словно Венера из морской пены, и уже совсем трезвая.

Мы отправились гулять по обновляемой ВДНХ. Юля катила ненужный самокат. Потом — сдала его. Я, как мог, рассказывал о местах, где мы бродили. Похоже, ей было интересно. Она не знала, кому принадлежал Останкинский дворец, и ничего не слышала о любви Шереметева к Параше Жемчуговой.

Я упомянул и телебашню, вокруг которой, по мнению писателя Орлова, кружатся демоны, и в двух словах пересказал ей сюжет „Альтиста Данилова“. Мы перешли в Шереметевскую дубраву. Её удивило подобие леса среди Москвы. Стало темнеть, и она спросила:

— Вам далеко ехать до дома?

— Мне не надо ехать. Я живу здесь.

Мы вошли в подъезд пятиэтажки, пахнувший гле- ном, поднялись в моё унылое жилище.

— Ничего, кроме книг, — сказала она, осматриваясь. — Почему вы живёте один?

— Потому что у всех — своя жизнь.

Она стала посылать безграмотные СМС и звонить. Через несколько дней мы встретились в Кулково. Потом в Царицыно. Ей захотелось обойти за лето все парки Москвы. Мы побывали даже в Лянозово. Она начала читать кое-что. Разные краеведческие брошюры.

Думаю, Юля быстро оценила мои материальные возможности. Вряд ли я мог предложить ей что-нибудь, кроме „лонгера“ в КФС. В своей бедности мы оказались равны.

Что было в ее жизни? Две поездки в Турцию, в отели „все включено“. И одна — на Кипр. Там Юля усердно плавала вокруг „скалы Афродиты“. Прохиндей-экскурсовод уверял, что это действие снимает „венец безбрачия“, и женихи будут встречаться теперь на каждом шагу. Возможно, уже на пляже. Но и после „скалы Афродиты“ никто, — ни на суше, ни на море, — в ее жизни не появился. Исподтишка поглядывали только соседи по отелю, обессиленные бесплатным пивом и присутствием жен.

Юля очень рассчитывала на чемпионат мира по футболу, и даже пару раз выходила ночью на Никольскую (бывшую 25 Октября), отданную на растерзание фанатам. Но и там, судя по всему, ничего не произошло. Пьяные болельщики приставали

ко всем подряд. Но она, как заколдованная, ходила в охмелевшей от жары толпе. Вокруг, на скамейках пешеходной улицы, почти под стенами Кремля, творилось веселое безобразие, но к ней — никто даже не притронулся.

Ладно, была бы страшненькой! Тогда надлежало смириться. Но как смириться с тем, что ты хороша, и — не дура ведь? И никому, совершенно никому, не нужна.

Она настолько уверилась в своей невосребованности, что не боялась ходить по самым диким местам — заводским окраинам, заброшенным гаражам. Ни один маньяк не посягнул на нее. У неё возникла склонность обнажаться — там где надо, и где не надо.

Конечно, она не позволяла себе лишнего на помпезной ВДНХ, но в более пустынных местах — особенно не стеснялась. Охранники, похоже, недоумевали — можно ли сидеть на скамейках в купальнике? Или это не купальник, а топ, для занятий спортом?

Жаркая погода была тем летом. У меня на глазах пассажиры чуть не линчевали водителя автобуса за неработающий кондиционер. В парках Москвы купаться запрещено, но из-за природной аномалии люди нарушали запрет. А Юля оказалась особенно злым нарушителем. Она не могла пройти мимо фонтана или водоёма, чтобы не оказаться в нём, не обращая внимания на запреты.

Однажды, мы договорились о встрече в Измайлово. Там открытая станция метро, похожая на перрон электрички.

Я смотрел, как люди появляются из каждого нового поезда. Но ее не было. Я позвонил. Телефон не отвечал. Не то чтобы номер был временно недоступен. Он просто — не отвечал.

Вот и все, — подумал я. — Конец нашим экскурсиям и болтовне. Упал казавшийся незыблемым венец безбрачия.

Я звонил на следующий день, и на третий. Хотя обычно звонила она. Было стыдно, но я позвонил и через неделю. Неожиданно мне ответили. Мужчина севшим голосом сказал:

— Юлю ищешь? Нет ее. Пропала. Что? Не знаешь, как люди исчезают? Объявлений таких не

видел? — Мужчина, судя по всему, долго пил и нечётко выговаривал слова. — Ты её сожитель?

Я молчал.

— Сожитель, знаю! — Мужчина попытался рассмеяться. — Она в гареме у тебя?

— Вы в полицию обращались?

Папа-прапорщик помолчал немного, потом завопил, разгораясь:

— Ты ее убил! Ты. По базе данных вычислю! Найду, и пытать буду! В бордель ее продал? В бордель туркам, да?!

Разговора не получалось. Я отключил телефон.

Превозмогая мизантропию, я поехал в Лыткарино. Там всего две больницы. В одной — вспомнили. Была такая медсестра. Уволилась, около месяца назад.

Значит, когда мы познакомились, она уже не работала. Коллеги Юли ничего о ней рассказать не смогли. Слышали, что пропала куда-то. Сказали — приходили из полиции, опрашивали. Лишь один молодой врач оказался более разговорчивым. Постоял со мной в коридоре пару минут.

— Может, она в какую-нибудь Северную Альберту уехала? — предположил он. — Там медсестры нужны. Правда, климат собачий. Хуже, чем у нас.

— Вы уверены?

— Не на сто процентов. Слишком быстро... А могли и на органы разобрать, — предложил он другую версию. — Спрос огромный. Тела часто не находят.

— Возможно, зависла у любовника?

— Исключено, — почему-то обиделся врач. —

У таких не бывает любовников.

„Интересно“, — подумал я.

— Такие — не зависят у любовников, — поправился он. — Думайте о хорошем. Рано или поздно, она пришлет вам по e-мэйлу письмо. С острова принца Эдуарда, например.

Я вернулся на ВДНХ, сел на ту же скамейку.

Что мне оставалось? Расклеивать объявления? Сколько их я видел — во время одиноких прогулок. Куда она могла исчезнуть?

Взяла кредит и купила билет в одну из латиноамериканских стран, чтобы раствориться в их немыслимом мире? Такой вариант — гораздо интереснее, чем работа в холодной Канаде. Хотя и близок к самоубийству.

Пройдя череду фантастических превращений, она выплывает — Джульеттой, или даже доньей Джулией — женой криминального авторитета из Сан-Сальвадора.

Или — наоборот, будет долго скитаться по сельве и умрет там от голода, глядя, как мимо проходят неторопливые гуанако.

Могла уйти в монастырь. Но не в один из известных, где все гламурно и подконтрольно, а в глушь. Таких обителей ещё не мало. Там уж, точно, человек пропадает бесследно.

Став трудницей, повязав платок „кирпичом“, будет укладывать поленницу на подворье в вологодских лесах. Под утро слушать в пустом храме: „Се Жених грядет в полунощи“. Учиться читать по церковнославянски. У нее будет тяжелое послушание — убирать за коровами, и легкое — собирать грибы. Через несколько лет, возможно, примет постриг. И тогда Небесный Жених снимет с нее „венец безбрачия“ и даст другой.

А если... — просто плюнула на своё Лыткарино и сняла комнату в Москве? Устроилась медсестрой в частную клинику. Ну, не хочет она видеть — ни папу-прапорщика, ни маму с её домашним консервированием. Ни молодого врача. Ни меня.

Хочет начать жизнь с чистого листа. В тридцать лет это ещё возможно.

Иногда, когда я гуляю на ВДНХ, мне кажется — она едет по Главной аллее на самокате. Потом сворачивает к „Бурану“. Проезжает мимо „Москвариума“. Исчезает где-то в районе Шереметевской дубравы.

Я иду за ней, но не могу догнать.

Виталий Орлов — публикации: Нева № 4, 2019, повесть ЕВРАЗИЯ. Нищевброд; Зинзивер № 6, 2021, рассказ „Интерстеллар“.

Ада Айнбиндер

„У ЧАЙКОВСКОГО БЫЛ БЕССПОРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАР“

Когда узнаешь об ипостасях Ады Айнбиндер, ведущего научного сотрудника института искусствознания, заведующей отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину, главы проекта издания собрания сочинений композитора, невольно начинаешь воспринимать её как атланта, поддерживающего необъятное здание наследия гения русской музыки. Кроме того, она является уникальным культурологом, блистательно работающим на пересечении филологии и музыковедения. При этом создается впечатление, что ей легко и непринужденно удаётся совмещать весьма непростые роли. Её самоотверженность, безмерное обаяние и умение найти подход к каждому способны сплотить почитателей музыки даже в самые нелёгкие времена. И во время пандемии, на которое пришлось празднование 180-летия со дня рождения Чайковского, музей в Клину не только не отменил ежегодный фестиваль, но даже (в отличие от большинства музеев) решился на проведение конференции, большую часть заседаний которой вела Ада. Она вносит животворную струю в любое начинание и, к счастью, сегодня во многом определяет лицо музея-заповедника.

— Ещё не так давно Полина Вайдман, Ваша покойная мама, видный учёный-музыковед, хранитель рукописного фонда Чайковского в Клину, автор прекрасных книг о нём,

выражала сожаление, что у нас не существует отдельного исследовательского института Чайковского (аналога института Шопена в Польше). Но разве Ваш музей с его партнёрскими выставками (в частности, Аполлинария Васнецова, проживавшего неподалёку отсюда), реставрационными планами сопредельных с Клином имений, столь значимых для позднего периода жизни композитора, не является подлинным исследовательским центром? А в существующем с 1990-х годов проекте издания Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского (Клин, Москва), вероятно, задействованы все без исключения сотрудники музея?

— Да, этот проект требует большого напряжения сил многих моих коллег, хотя в настоящий момент редактированием статей занимаюсь только я. К этому труду нам удалось привлечь огромное количество авторов со всего мира, в том числе из Грузии, Украины, Франции, США. Следующий том („Всенощенное бдение“) из серии „духовных сочинений“, который, как мы надеемся, выйдет в обозримое время, готовит профессор Московской консерватории, сотрудник института искусствознания Наталья Плотникова (в прошлом редактор музыкальной радиостанции „Орфей“), лауреат премии Союза композиторов Москвы за цикл передач „Путешествия по святым местам русским“, сотрудник „Православной энциклопедии“. Скоро увидит свет и подготовленный мной четвертый том переписки Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мекк.

— **Большинство участвующих в проекте наших соотечественников имеют ученую степень и прошли длительную стажировку за рубежом?**

— Во всяком случае, это сотрудники учебных и научно-исследовательских институтов, специалисты в различных областях музыковедения. Сейчас вместе с Александром Викторовичем Комаровым, старшим научным сотрудником, хранителем отдела документов и личных архивов Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки, мы ведём работу по изучению источников текста и подготовке томов балета „Лебединое озеро“, а Первая симфония выйдет под редакцией Даниила Рустамовича Петрова, доцента кафедры истории русской музыки, крупнейшего в России специалиста по творчеству Густава Малера.

— **Средства массовой информации сообщают о том, что публикация мало известных публике, иногда даже научно реконструированных текстов нередко сочетается с их концертным исполнением. Так не без участия Вашей мамы фрагменты оперы Чайковского „Ундина“ исполнены Дмитрием Бергманом, известным театральным режиссёром, художественным руководителем „Геликон-оперы“, в спектакле „Неизвестный Чайковский“, который был показан на фестивале в Монпелье с прямой трансляцией по всей Европе.**

— Это не единственный опыт! В Золотом зале венского Musikverein в рамках пресс-конференции знаменитого дирижера Владимира Федосеева, посвящённой издаваемому нами собранию сочинений Чайковского, „Ундина“ была представлена с учётом реконструкции дуэтов советским композитором и педагогом Виссарионом Шебалиным, другом гениального Дмитрия Шостаковича. А музыка к оде Фридриха Шиллера „К радости“ для солистов, хора и оркестра (1865) уже не раз исполнялась в том виде, в котором она вышла под редакцией Тамары Сквирской, сотрудника института искусствознания, в прошлом доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории, главного редактора её издательского отдела. В отличие от предыдущих составителей собраний

сочинений, мы придерживаемся не хронологического, а тематического принципа. Новое издание разделено на 17 серий: сценическая, симфоническая, концерты, пьесы, переписка...

— **И они впервые издаются без всяческих купюр...**

— Мы предваряем публикации развёрнутыми научными статьями: об истории, редакциях, исполнителях, помещаем отзывы современников, приводим соответствующие иллюстрации.

— **Да, великолепно оформленные собрания сами по себе напоминают красивейшие раритеты, достойные внимания посетителей музея!**

— Всё это невозможно без постоянного участия сотрудников музея в подборе рукописей, фотографий, поиске источников. А какую бесценную помощь в расшифровке рукописей мне нередко оказывают коллеги, пришедшие из других областей! В общей сложности уже вышли 12 томов собрания сочинений, а планируется более ста. Это долговременный проект, ведь средняя скорость выхода подобного рода собраний за рубежом — 1–2 тома в год. Цель — издание авторских текстов, освобождение от позднейших наслоений. Между тем профессия музыкального редактора ныне почти утрачена. Ведь специалист, который занимается подобного рода деятельностью, должен быть универсалом: знать музыкальное источниковедение, музыкальную текстологию, читать партитуры, писать ключи... Для того, чтобы сделать вывод о конечной воле композитора, надо понимать его замысел, движение текста! Разделение на музыковедов и историков-теоретиков здесь не работает... Поэтому мы планируем специальные стажировки для студентов старших курсов, дипломников и аспирантов, музыковедов.

— **Конечно, немалую роль в подготовке собрания сочинений играют конференции, затрагивающие различные культурологические аспекты изучения биографии и творчества Чайковского?**

— Да, мы обычно весьма подробно представляем на конференциях новые тома собрания сочинений. Но есть и другие темы. На такого рода собраниях, как правило, возникает немало

дискуссионных моментов, в ходе которых рождаются новые видения перспектив изучения наследия композитора. Музыковеды и почитатели творчества Чайковского узнают о новых находках, фактах и концепциях, которые в данном ключе никогда не рассматривались.

— Действительно, я помню, как на последней конференции сам факт кражи из библиотеки Палаццо дождей в Венеции (ныне это национальная библиотека Марчиана) надворным советником и профессором консерватории Чайковским сочинений Еврипида 3 декабря 1877 года стал для Вас поводом для размышлений о состоянии душевного смятения композитора после неудачной женитьбы, в котором он создаёт Четвертую симфонию с преобладающей в ней темой рока. И насколько интересным и неожиданным показалось возникшее в выступлении Владимира Владимировича Горячих (кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова) сближение житейской максимы няни Татьяны из оперы „Евгений Онегин“ („Привычка свыше нам дана“) и мельника („Одно и то же надо вам твердить сто раз“) из хорошо знакомой Чайковскому оперы Даргомыжского „Русалка!“ А захватывающую дискуссию (чуть ли не с переходом на личности), инициированную докладом Светланы Владимировны Черевань из Челябинска, о постановках оперы „Евгений Онегин“ Дмитрием Черняковым (Большой театр, 2006) и Александром Тителем (Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, 2007), проходившую не только в кабинетах, но и за рулём машины, смогла с присущим ей чувством юмора уравновесить лишь Тамара Закировна Сквирская.

— В нашей конференции принимают участие не только музыковеды. Иногда случается, что люди, которые просто любят Чайковского, делают совершенно потрясающие открытия. Например, Рональд де Вет, славист, член „Общества Чайковского“ в Германии, нашёл автора текста романса „Mezza note“, которым оказался известный

итальянский поэт Луиджи Каррера, приятель Байрона (этот доклад опубликован в четвёртом альманахе, составлявшемся по итогам предыдущей конференции). Сравнительно недавно на одной из наших конференций филолог Маргарита Метлякова, научный сотрудник и замечательный экскурсовод Дома-музея П. И. Чайковского в Воткинске, выступила с убедительной атрибуцией неизвестного портрета матери композитора. А мы с мамой нашли в Берлинштадт-библиотеке копию Первого фортепианного концерта, по которой композитор, пианист и дирижёр Ханс фон Бюлов, страстный поклонник и пропагандист творчества Чайковского на Западе, исполнял его во время ошеломляющей премьеры в Бостоне. Благодаря этой находке, мы смогли отделить первую редакцию от второй.

— Да, описанный композитором в письме к Надежде фон Мекк конфликт с Николаем Рубинштейном (который возник из-за технических трудностей в исполнении Первого концерта) был даже показан в давнишнем фильме Игоря Таланкина „Чайковский“. Теперь этот концерт в обеих авторских версиях опубликован в двух первых томах собрания сочинений.

— Но, разумеется, это не конечная точка всевозможных исследований. До сих пор находятся новые издания с пометками, которые имеют косвенное отношение к Петру Ильичу, но самое непосредственное к его творчеству, к истории текста сочинений, доказывают или уточняют те или иные моменты.

— Да, к счастью, интерес к творчеству Чайковского, который был и остаётся одним из самых исполняемых композиторов в мире, все возрастает. Я знаю, что с Вашим приходом у коллег возникло ощущение большей открытости всевозможных ресурсов, связанных с творческим наследием композитора?

— Конечно, это преувеличение. Я чувствую себя лишь звеном большой цепи (улыбается). Есть государственный каталог музейного фонда, каталог „Открытый мир“, сайт-портал „Chaikovskiyresearch“. И что бы зарубежные коллеги в свете модных тенденций ни говорили, мы

ни одному исследователю не отказали ни в одном документе, каким бы откровенным и личным он ни являлся. Иное дело, что за какими-то документами они никогда не обращались...

— Да, в том, что Вы готовы делиться своим опытом реконструкции истории создания тех или иных шедевров легко убедиться, побывав на новой экспозиции „Чайковский. Симфония. Жизнь“, где на примере знаменитой арии Германа из „Пиковой дамы“ („Что наша жизнь? Игра!“) они могут увидеть изнутри, как из первоначальных эскизов музыкальная идея обретает отточенную форму. Вы представляете историю переписки с Чайковским Надежды фон Мекк, для которой общение с композитором стало одновременно отдушиной и искуплением. Хорошо, что на выставке присутствует огромное количество меморий, представляющих весь жизненный путь Чайковского. И всё же кажется, что на фоне декораций Василия Поленова, Сергея Судейкина, Льва Бакста, Александра Бенуа и Александра Головина к его операм (представленных хотя бы в интерактивной форме) гениальные достижения композитора засверкали бы в глазах посетителей ещё более яркими красками! Тем более, что заведующая музея Чайковского с интересом следят за Вашим проектом on-line. Там постоянно демонстрируются организованные музеем телепередачи, рассказывается о различных периодах деятельности композитора и о тайнах библиотеки Чайковского, которому, как я понимаю, невероятно повезло.

— Да, это единственный в России случай сохранения собрания сочинений в доме композитора в целостном виде.

— В Вашем рассказе о читательских предпочтениях Чайковского, запечатлённом на видео, композитор предстаёт как истинный патриот и в то же время как подлинный интеллигент, открытый всем новым веяниям многообразного, меняющегося мира. Как Вам кажется, что могло привлечь столь оптимистичного человека к довольно мрачной философии Шопенгауэра? Признание, что целью жизни человека

вовсе не является счастье, сознание первостепенности долга?

— Если читать Шопенгауэра глазами Чайковского, на первый план выходит тема гениальности. Чайковский, подобно герою симфонии „Манфред“, постоянно находился в поиске ответов на роковые вопросы бытия. Он собирал биографии великих людей и, конечно, проецировал их на себя, постоянно задумываясь над тем, прощаются ли человеку какие-либо грехи, если он не такой как все.

— **Вы говорите про одержимость гениального человека одной идеей?**

— Он показывает великую личность в конкретных исторических обстоятельствах в операх „Мазепа“ и „Орлеанская дева“. „Мазепа“ — опера, в которой все друг друга предают. Иоанна в „Орлеанской деве“ только подумала, что может Лионеля полюбить, и вот она уже на костре.

— **Но в опере Чайковского Иоанна сама готова отказаться от своей любви?**

— Он воспринимал свой дар как крест, прекрасно понимал, кто он. Петр Ильич даже Иисуса Христа воспринимал не как божественную фигуру, а прежде всего как боготворимого и любимого им человека

— **Вот в чём, очевидно, помимо идеи всепрощения, суть его записи в дневнике про страшную бездну между Ветхим и Новым заветами (хотя прощать своего личного врага иудаизм человеку вовсе не запрещает)... А Георгий Ковалевский, сотрудник института истории искусств, в статье, посвящённой религиозным взглядам Чайковского, утверждает, что Толстого и Ренана объединял общий критический подход к Евангелию — оба они отрицали божественность Иисуса Христа и Его воскресение из мёртвых...**

— За запись в дневнике „нужны ли Богу наши молитвы“, за отзыв на критику Ренана епископом Михаилом Лузиным Петра Ильича могут просто предать анафеме!

— Да, постоянно чувствуется, что его посмертная репутация крайне важна для Вас. Он словно был и остаётся членом Вашей семьи... Что, на Ваш взгляд, позволяло Чайковскому

(в чьих слабостях при желании можно увидеть сходство со скандальным поведением прославленного денди из туманного Альбиона) оставаться альтруистичным, целеустремленным, преданным идее самосовершенствования, мягким и мечтательным интеллигентом? Или все мы склонны несколько идеализировать любимого композитора?

— Он вовсе не был замкнутым, меланхолическим, боящимся своей тени человеком (каким, в частности, пытались представить его авторы телепередачи „Между адом и раем“). Он мог и пошутить, скромность его была весьма относительной. Он любил модно одеваться, одалживал деньги, ждал субсидий от фон Мекк, в зависимости от своего настроения мог давать людям взаимоисключающие оценки.

— Но Брамса не любил?

— То, что Чайковский не любил Брамса, неправда. Когда они встретились вместе с Эдвардом Григом в самом начале 1888 года в Лейпциге, в доме у скрипача Адольфа Бродского, то вместе кутили. Чайковский мечтал пригласить Брамса в Россию. Пётр Ильич играл его произведения во время сочинения Пятой симфонии, а Брамс специально задержался в Гамбурге, чтобы прослушать её репетицию. Вообще, Пятую симфонию можно назвать абсолютно брамсовским сочинением. Восстановить многие обстоятельства жизни Петра Ильича, нюансы его взаимоотношений с людьми очень трудно... Трёхтомник „Жизнь Чайковского“ остаётся самой большой монографией. В 1990 году вышла достойная книга Бориса Никитина „Чайковский. Старое и новое“. Как мне представляется, важным этапом слова о композиторе стала выпущенная в 2009 году наша с мамой книга „Неизвестный Чайковский“. Но сейчас на дворе 2021 год, нам есть, что сказать о Чайковском. Ведь сам он уже постоять за себя не может, а на него столько навесили, что ему самому было бы противно...

— Именно поэтому Вы и взялись написать о нём книгу в серии „ЖЗЛ“?

— Издательство „Молодая гвардия“ для этой серии само заказало мне книгу, видимо понимая, что у человека, который постоянно работает

с источниками, больше шансов избежать манипуляций и фальсификаций... Например, далеко не все готовы понять, что не мог покончить с собой человек, который настолько боялся смерти.

— Хотя в одном из писем к фон Мекк Чайковский писал, что хотел бы верить в будущую жизнь...

— Я прежде всего хотела сказать, что врачебные бюллетени, протоколы того времени лишь подтверждают факт его болезни...

— В одном из своих интервью Вы говорили, что стараетесь „не просто писать — прожить эту жизнь с Чайковским, как бы не зная, что будет дальше“. Но разве лейтмотивом его „Патетической симфонии“ не становится предчувствие конца?

— Чайковский писал эту симфонию о жизни, которая всегда оканчивается смертью. Кстати, название „Патетическая“ он придумал сам. Да, в симфонии, в которой Чайковский раскрыл всю свою душу, можно услышать молитву „со святыми упокой“ (она цитируется в нижнем регистре). Но Чайковский не писал Шестую симфонию как реквием, он не собирался умирать. Просто, как говорила моя мама, после того, что Чайковский пережил с исполнением Шестой симфонии, можно было умереть от насморка. Пётр Ильич уже на репетициях почувствовал, что все от него отворачиваются, что никто его не понял. После премьеры во всех рецензиях он увидел почти одно и то же: вот наш любимый композитор, которому мы столько раз играли туш, правда, исписался, но тема вальса ничего. Уже позже в рукописи рукой Направника были переправлены темпы, тогда всё стало ещё медленней и печальней. И в итоге Шестая симфония, когда Чайковский умер, была воспринята совершенно иначе...

— Точнее, как справедливо заметила на последней конференции музыковед Юлия Тарасова, ее сопровождали „окации и успех“. Во время юбилейного года, одна из передач на радио „Орфей“, посвящённых 180-летию со дня рождения Чайковского, касалась его сложных, двойственных отношений со Львом Толстым.

Что отталкивало и что привлекало композитора в великом писателе и мыслителе?

— Я бы всё-таки не стала говорить об отталкивании. Единственная встреча с Толстым была для Чайковского поворотным моментом, дальше он избегал общения, но вёл с ним на страницах дневников постоянные диалоги. Композитор относился довольно скептически к проповеднической деятельности Толстого.

— **Вообще, Ваша написанная по материалам личной библиотеки и архива композитора всеобъемлющая, энциклопедического характера статья „П. И. Чайковский и Л. Н. Толстой“ убедительно показывает, что фанатичное преклонение перед могучим гением Толстого и вместе с тем неприятие его поздней драматургии (та же тема в статье «„Власть тьмы“ и „Плоды просвещения“ в кругу чтения П. И. Чайковского») само по себе является бесспорным фактом культуры. И всё же осознать истину, что художник сам свой высший суд, композитору помогла именно встреча с Толстым...**

— Вся вторая половина XIX века прошла под знаком Толстого. И мы постоянно находимся в очень тесной связи с музеями Толстого как в Москве, так и в Ясной Поляне.

— **Да, в создании энциклопедии „Лев Толстой и его современники“ сотрудники Вашего музея (наряду с коллегами из Исторического) сыграли немалую роль. Да и на выставке „От Толстого до Толстого“ в Музее истории российской литературы имени В. И. Даля мне приходилось видеть огромные трубки (наподобие тех, из которых курил Пётр Ильич)... А на сайте „Пушкинского дома“ даже размещена Ваша монография о библиотеке Чайковского, в которой говорится о влиянии статьи Толстого „В чём моя вера“ на мировоззрение композитора!**

— Да, мы дружим с Пушкинским домом. У нас оказался автограф Афанасия Фета, посвящённый Чайковскому, а Пушкинский дом включил его в комментарии к пятому тому собрания сочинений.

— **А ведь помимо напоминающего здравичу стихотворения „Тому нелестны наши оды...“**

в Вашем музее хранятся и двадцать стихотворений Фета. Они были переписаны для Чайковского секретарём поэта Екатериной Фёдоровой... В таком окружении как Фет, Апухтин, Алексей Константинович Толстой не стать хотя бы в какой-то степени поэтом Петру Ильичу было почти невозможно...

— Ну нет. Чайковский, прежде всего, композитор. Но поэтическое творчество Чайковского — это не только детские стихи, не только стихотворение „Ландыш“...

— **Да взять хотя бы написанный им на собственные стихи романс „Страшная минута“ с его „предверлибром“ и невероятно нежно-лиричной мелодраматической интонацией...**

— Чайковский — автор или соавтор либретто большинства своих сочинений. У него был бесспорный литературный дар, что хорошо видно по письмам и дневникам...

Беседу вела Александра Гордон

Гордон Александра Вениаминовна - филолог, журналист. Сфера творческих интересов: русская литература первой половины XIX века, музееведение, русско-еврейская литература. Автор статей, освещающих различные способы воплощения романтической мифологии, а также ряда публикаций о выставках, касающихся литературы Золотого и Серебряного века.

В 1983 году закончила музыкальную школу № 44, в 1993 году филологический факультет МГУ. Работала в Историческом, Литературном и Театральном музее, школе им. Натальи Сац.

Подготовила и провела презентации книг нескольких московских издательств „Текст“, „Новое литературное обозрение“, „Литературные памятники“, „Теревинф“, „Водолей“ и др., в которых принимали участие известные ученые, писатели, переводчики, актеры и музыканты (см. отклики в „Независимой газете“). Публиковалась в „Книжном обозрении“, „Литературной газете“, „Культуре“, „Русской мысли“, „Независимой газете“, в „Вопросах литературы“ и „Словаре русских писателей“.

Виктор Фет

„СЕРЕБРЯНАЯ РЫБКА“ НАБОКОВА

В. В. Набоков, специалист по бабочкам (отряд *Lepidoptera*), редко упоминал других насекомых; он охотно признавался, что не обладал очень глубокими знаниями в общей энтомологии. Однако, как и всякий энтомолог, он, конечно, хорошо различал наиболее крупные систематические единицы — *отряды* насекомых, которых насчитывается около 20, а также ряд *семейств* в пределах этих отрядов.

Один из лучших рассказов Набокова „Облако, озеро, башня“ был впервые опубликован по-русски в 1937 в Париже. Вскоре после своего переезда в США (1940), Набоков публикует этот рассказ в английском переводе под названием „Cloud, castle, lake“ (1941). Перевод был выполнен П. Перцовым совместно с автором. (О П. А. Перцове (1908–1967) см.: М. Шраер, „Набоков и его американский переводчик П. А. Перцов“, „Таллинн“, 2001, № 23, с. 157–165.) В одном из предложений рассказа Набоков упоминает два вида насекомых, не относящихся к бабочкам.

„Ночевали в кривой харчевне. Матёрой клоп ужасен...“, начинается фраза, повествующая о том, как мучается герой, добрый и беспомощный Василий Иванович. Постельный клоп (лат. *Cimex lectularius*, отряд *Hemiptera*) традиционно населяет многие страницы русской литературы — от „Евгения Онегина“ (7: XXXIV), где „на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают“, до пьесы Маяковского (1929). Даже у самого Набокова райская Амероссия кое-где (тир в поместье Ардис) „кишит клопами“ („Ада“, 1.34). На самом деле, привычный нам бескрылый кровосос только недавно пробрался в Северную Америку.

То же предложение в рассказе „Облако, озеро, башня“ завершается так: „...но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы“ (см., например, „Собрание сочинений русского периода“, т. 4, „Симпозиум“, С.-Петербург, 2000, с. 586). Что это за существо?

Lepisma (по-русски — чешуйница) — это латинское (родовое) название примитивного, бескрылого, быстро движущегося насекомого. Принадлежит оно к отряду щетинохвостых (*Thysanura*). По-английски щетинохвостки официально называются „bristletails“, а в просторечии именуется по-разному: обычно „silverfish“ („серебряная рыбка“), а иногда также „fishmoth“ („рыбка-мотылёк“), „silver louse“ („серебряная вошь“), „sugarfish“ („сахарная рыбка“) и даже „sugar louse“ („сахарная вошь“). Авторизованный перевод рассказа „Cloud, castle, lake“ содержит фразу „...there is a certain grace in the motions of silky *silverfish*“ (напр., в книге „Nabokov’s Congeries“, Viking, 1968, p. 104).

Обыкновенная, или сахарная чешуйница (*Lepisma saccharina*) упомянута в любом курсе общей энтомологии, в том числе и в четырехтомнике Н. А. Холодковского (1912), который в детстве штудировал Набоков (Холодковский, к слову, был не только энтомологом, но и поэтом-переводчиком; ему принадлежит известный перевод „Фауста“). Тело лепизмы покрыто серебристыми чешуйками, как крылья ночных бабочек, и они так же остаются на пальцах при прикосновении. В слове *Lepisma* мы находим тот же греческий корень „лепис“ (чешуйка), что и в названии

отряда бабочек, Lepidoptera (по-русски „чешуекрылые“).

Любопытно, однако, что в первом английском переводе „Cloud, castle, lake“ (журнал „Atlantic Monthly“, июнь 1941) упомянута вовсе не чешуйница, а совершенно другое членистоногое: „there is a certain grace in the motions of silky wood lice“. „Wood louse“ (буквально, „древесная вошь“) — не эквивалент чешуйницы и даже не насекомое; это наземное ракообразное (отряд Isopoda), известное русскому читателю под именем „мокрица“. Мокрицы обычны во влажных местах, под камнями, под гниющими стволами, однако редки в домах с нормальной влажностью. Как и чешуйницы, они безвредны для человека.



Сахарные чешуйницы (*Lepisma saccharina*), грызущие книгу — видимо, том Брэма, судя по буквам «Br...» на корешке. Сверху слева — «книжный» ложноскорпион

(Из «Жизни животных» А. Э. Брэма, СПб, 1895, т. 9).

Оказывается, что перевод 1941 полностью соответствует первой журнальной версии рассказа. В русском тексте 1937 г. говорится: „есть известная грация в движении шёлковых мокриц“ (журнал „Русские записки“, Париж, 1937, № 2, с. 38). Это отмечает и Юрий Левинг в своих примечаниях к рассказу („Собрание сочинений русского периода“, 2000, т. 4, с. 778).

Замена „silky wood lice“ на „silky silverfish“ произошла впервые в английском издании 1947 г. (сборник „Nine Stories“, New Directions, New York, p. 39), где имеются и другие отличия от

перевода 1941 г. Уже в сборнике „Nabokov's Dozen“ (Doubleday, 1958, p. 318) и во всех последующих изданиях рассказа читаем „silky silverfish“. В русском же тексте „шёлковые мокрицы“ были заменены „шелковистой лепизмой“ впервые в издании 1956 г. (сборник „Весна в Фиальте“, Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк).

Биограф Набокова Брайан Бойд (личное сообщение) считает, что „замена могла быть вызвана тем, что в течение шести лет между 1941 и 1947 гг., когда Набоков работал энтомологом в Гарвардском Музее сравнительной зоологии (Museum of Comparative Zoology), он ежедневно размышлял в терминах профессиональной энтомологии. Опубликованный в „Atlantic Monthly“ перевод рассказа „Облако, озеро, башня“ был завершён 5 марта 1941, в то время как Набоков начал свою работу в Гарвардском музее только в октябре 1941 г.“

Малоизвестное слово „лепизма“ имеется в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Мне оно было знакомо по книге знаменитого австрийского энтомолога, нобелевского лауреата Карла фон Фриша „Десять маленьких непрошенных гостей“ (М.: „Детская литература“, 1970). Надо признать, что мало кто из читателей поймёт без примечаний, о каком существе идёт здесь речь. Тем не менее, у меня нет сомнения, что Набоков произвёл замену намеренно. Именно у лепизмы-чешуйницы „есть известная грация в движении“: она движется гораздо быстрее неуклюжей мокрицы, и недаром носит по-английски деликатно-детское прозвище „серебряная рыбка“.

И, что важнее, у мокриц нет серебристых чешуек: они не оставляют, как ночные бабочки, серебристой пудры. Название же „лепизма“ (в котором скрыто слово „чешуйница“) несомненно отсылает нас к набоковским чешуекрылым („лепидоптера“). Кроме того, более точна замена прилагательного в русском тексте: „шёлковых“ на „шелковистых“.

Как давно уже отметил набоковед и переводчик Геннадий Барабтарло („Phantom of a Fact: A Guide to Nabokov's „Pnin““, Ardis, 1989, с. 102),

чешуйница „проползает по страницам книг Набокова“ ещё по меньшей мере трижды. Слово „*silverfish*“ возникает в романе „Лолита“ (1955), в описании Евы Розен: „...her delicate milky-white face with pink lips and *silverfish* eyelashes“ (гл. 9). В русском варианте романа (1967) сравнение с насекомым опущено („Черты её нежного, молочного-бледного лица с розовыми губами и белесыми ресницами...“)

То же описание ресниц, но с употреблением термина „fish moth“, мы находим в романе „Пнин“ (1957), в описании Эрика Винда: „long pale eyelashes resembling fish moths“ („длинные бледные ресницы, напоминающие лепизму...“, пер. С. Ильина; гораздо точнее: „длинные блёклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы“, пер. Г. Барабтарло). Такое энтомологическое сравнение вряд ли найдётся у какого-либо другого писателя.

Наконец, в английском тексте романа „Look at the Harlequins!“ („Смотри на арлекинов!“, 1974) встречается ещё одно название этого насекомого. Анти-набоковский протагонист романа Вадим Вадимович иронически относится к бабочкам, особенно к ночным, покрытым серебристыми чешуйками. Он говорит (в переводе С. Ильина, гл. 7): „О бабочках я не знаю ничего, да, собственно, и знать не желаю, особенно о ночных, мохнатых — не выношу их прикосновений: даже прелестнейшие из них вызывают во мне торопливый трепет, словно какая-нибудь летучая паутина или та пакость, что водится в ваннах Ривьеры, — сахарная чешуйница“.

В английском оригинале романа употреблен более грубоватый термин — „silver louse“ („серебряная вошь“); перевод Ильина, убрав серебристость, привносит в набоковскую фразу ненужную сладость. Чешуйницы действительно обитают на Ривьере; они обычны по всему миру, но для человека не опасны. Часто встречаются они

в ваннах, а также в библиотеках, где питаются бумагой, книжными страницами и даже карточками из каталогов. Набоков, несомненно, знал и об этом, вполне символическом значении чешуйниц как книжных вредителей.

Соблазнительно предположить, что лепизма — бескрылое, ползающее существо — представляет собой замену набоковским бабочкам в убогом и жестоком мире рассказа „Облако, озеро, башня“, или в романе „Смотри на арлекинов!“. Набоковское сочетание в одной фразе клопа и лепизмы отражает также хорошо известный энтомологам эволюционный контраст между изначально (*первично*) бескрылыми организмами (чешуйницы — древнейшие из насекомых, родственные палеозойским группам, у которых ещё не было ни крыльев, ни полёта) и *вторично* бескрылыми (клопы, блохи, вши — потерявшие драгоценные крылья своих предков — таких, как бабочки — ввиду паразитического образа жизни).

Всё это, наверное, не так уж важно для читателя, которому нет дела до мокриц или чешуйниц — но не для натуралиста Набокова, с его постоянным вниманием к подробностям любых природных объектов.

Я искренне благодарен профессорам Брайану Бойду и Присцилле Мейер за их помощь и замечания.

Виктор Фет (1955 г.р.) — зоолог, специалист по скорпионам. Преподаёт биологию в Университете Маршалла (Западная Виргиния). Опубликовал шесть книг стихов по-русски. Составитель сборников „День русской зарубежной поэзии“ (Франкфурт, 2019–2021). Автор очерков о Кэрролле и Набокове. Издательство „Evertime“ (Шотландия, www.evertime.com) выпустило его перевод „Охоты на Снарка“ Л. Кэрролла, а также фантазию „Алиса и машина времени“ (2016, по-английски и по-русски).

Сергей Зельдин

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Девятого апреля Сергей Палыч проснулся в пять пятьдесят пять. Как всегда, в первые мгновения он подумал, что пора собираться на работу. Но сразу вспомнил, что на работу только послезавтра. Сергей Палыч работал сутки через трое. Трех выходных было много и уже через два дня его тянуло назад к книгам, пешим прогулкам по лону природы, к самосозерцанию — он работал сторожем.

Сергей Палыч лежал, слушал, как через приоткрытую форточку в комнату заползают острые звуки, глядел как светлеет штора. Штора была оригинальной расцветки и напоминала Сергею Палычу желтоватый белок огромного глаза в лопнувших кровеносных сосудах. Сергей Палыч, стараясь не скрипеть, сходил в туалет, потом вернулся, включил планшет и стал смотреть „Козла отпущения“ с Бастером Китонем.

Бастера Китона, звезду немого кино, он открыл для себя недавно. Этот хрупкий молодой человек с каменным, ничего не выражающим лицом, буквально магнетизировал Сергея Палыча. Чудовищные трюки Короля Падений целый день стояли перед его глазами и снились по ночам. Отдаленное, весьма смазанное, представление о номерах Бастера Китона дает Джеки Чан в своих лучших фильмах. Но и Джеки далеко до Бастера. А ведь Китон снимался сто лет назад, в двадцатых годах прошлого века! Особенно нравилось Сергею Палычу, что Бастер Китон забыт. Это в его глазах было лишним свидетельством его гениальности. Чарли же Чаплина он ставил гораздо ниже, примерно как Раймонда Паулса по сравнению с Моцартом.

Посмотрев „Козла отпущения“, „Ученика мясника“ и „Брак назло“, Сергей Палыч увидел, что

пора курить. Он выкуривал по три сигареты в день. Первую он любил выкурить на маленьком базарчике возле дома, попивая „американо“ и наблюдая базарные сценки. Сейчас базарчик был закрыт на карантин, и Сергею Палычу приходилось курить возле гастронома „Железнодорожник“, купив кофе в кондитерском отделе, сдвигая и натягивая маску между затяжками и с отвращением глядя на свои руки в резиновых, кондомного цвета перчатках.

Откровенно говоря, Сергею Палычу не стоило делать ни того, ни другого — ни курить, ни пить кофе. Здоровье у него было поганое, сердце подвержено порокам — то аритмии, когда пульс, слабый и неровный, взлетал до ста тридцати и Сергей Палыч, красный как помидор, лежал пластом, то — брадикардии, когда пульс наоборот опускался ниже сорока и у Сергея Палыча путалось в голове и стыли пальцы на ногах. Медицина же давно отступила перед его недугами и сдалась. По крайней мере, в последний раз весельчак кардиолог в поликлинике сказал ему:

— Полноте, дусенька, с вашей аритмией жить и жить! Только не надо думать о плохом и хоронить себя заранее! Держать хвост пистолетом! Позовите там следующего!

Поэтому, полагая, что двум смертям не бывать, тем более, что все мы ходим под Богом, Сергей Палыч покуривал и иногда пил кофе. Ему даже казалось, что от этого его аритмии и брадикардии делается легче.

Сергей Палыч, кряхтя, обувался в прихожей, когда из своей двери выглянула тетя и тихонько сказала:

— С днем рождения, Сергуня, племяшик дорогой!

Взгляд у нее был как у затравленной газели:
— Извини, что я опять без подарка! Вот по-
лучу антикризисные!..

Тетка получала пенсии тысячу восемьсот гри-
вень, что в переводе на доллары означало шесть-
десят. Поэтому ей все время хотелось быть щед-
рой и расточительной.

— Не балуйтесь, Нина Васильевна! — сказал
Сергей Палыч. — Какие подарки на позициях!

Этим он хотел сказать, что когда Григорий Ме-
лехов, потрепанный красными, приехал в стани-
цу на побывку, то на бабские приставания с по-
дарками так и ответил, хмурясь, как туча: „Ка-
кие на позициях подарки?“

Сергей Палыч был любящим племянником
и частенько баловал тетку халвой и сосисками
„Нежные“, до которых она была большая охотни-
ца. Он сходил покурить и купить хлеба. Дома его
встретила проснувшаяся жена Зинаида и сказала:

— А ныл, что не доживешь! Дожил, как ми-
ленький! Ну, долгих тебе лет! — и подарила крем
после бритья. Зинаида с Нового года сидела без
работы, а когда нашлось место, началась панде-
мия, и она опять сидела дома, потихоньку начи-
ная звереть.

— Садимся в час, — сказала Зинаида.

У Эдика, мужа зинаидиной младшей сестры Та-
нюхи, накануне умерла мать, и Зинаида собиралась
поехать на Крошню, часок-другой посидеть у гро-
ба. Она только сомневалась, что ее пустят в трол-
лейбус без пропуска. Но хотела попробовать, а то
она уже целый месяц не видела живых людей. По-
этому Зинаида и сказала: „Садимся в час“.

Тетка налепила пельмешек, пол-литра „Неми-
рова с перцем“ была куплена, и только дожида-
лась торжественного банкета, посвященного пя-
тидесятидевятiletию виновника торжества. Тут
на зинаидин телефон хлынули поздравления от
друзей. У Сергея Палыча телефон был хороший,
но кнопочный, а у жены шестой айфон, потому-то
поздравления и шли не на тот телефон, а на этот.
Первый друг, Козлов, прислал стихи:

Прекрасный мужчина, отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.

Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки!

Козлов любил поэзию, хотя и служил юри-
стом в „Житомирсвете“. Сергей же Палыч сти-
хов не любил и не понимал, вслед за Львом Тол-
стым считая поэзию аферой и бумагомаранием.
Но это было поздравление от друга, и это было
очень приятно.

Потом пришло поздравление от второго дру-
га, Ляха. Он прислал красочную заставку с го-
рящим камином, а перед камином стоит столик
с толстой пачкой баксов по сто долларов, пузатая
бутылка коньяка, видимо очень дорогого и ко-
робка сигар, наверное, гаван. Сергей Палыч ве-
село сказал жене, что доллары и коньяк это не по
его части, но что сигарку он выкурит с удоволь-
ствием. Зинаида сказала колкость насчет уме-
ния зарабатывать баксы, Сергей Палыч ответил
матерной резкостью и, слово за слово, началась
распря. Тетка прижухла в своей комнате. Чтобы
не портить себе праздничное настроение, Сергей
Палыч обулся, надел маску и пошел развеваться.

Улицы были чисты и пусты. Изредка навстре-
чу спешили одинокие прохожие в голубых ап-
течных масках. „Пацаки! Всем надеть наморд-
ники и радоваться!“ — с грустной иронией про-
бормотал Сергей Палыч. Коронавирус захлест-
нул мир и теперь казалось, что всю жизнь были
карантин и самоизоляция, не хватало кислоро-
да в больницах, не работали магазины. Закрыв-
тие же парикмахерских привело к тому, что волосы
у Сергея Палыча отросли настолько, что он стал
похож на нигилиста.

По пути Сергей Палыч набрал Ляха, который
тоже изнывал дома с женой, тихой, забитой им
в психологическом плане, женщиной. Они дого-
ворились встретиться у входа на бывшую „Вы-
ставку достижений сельского хозяйства УССР“,
которую в далеком тысяча девятьсот пятьдесят
восьмом году открывал лично дорогой Никита
Сергеевич. Теперь весь район назывался Выстав-
кой, а от самой выставки осталась лишь триум-
фальная арка, увитая гипсовыми снопами и ово-
щами.

Друзья сели на скамейку, сдвинули маски и, зорко поглядывая, нет ли мусоров, закурили. Опасения эти не были напрасными, уже был не один случай, когда за маски штрафовали на семнадцать тысяч. Для Сергея Палыча, получавшего три пятьсот, это бы стало катастрофой „Титаника“. Два друга закурили и, поговорив какое-то время о днях рождения и о старости вообще, перешли к другим темам.

— Знаешь, Вадимыч, — сказал Сергей Палыч, — я открыл для себя старую звезду немого кино Бастера Китона! Я бы хотел, чтобы ты тоже посмотрел и сказал свое мнение. Я думаю, ты чокнешься!

— Мне больше делать нехрен, как смотреть твое глухонемое кино! — ответил Лях, бывший и вообще-то грубоватым, а сегодня почему-то особенно не в духе. — Ты слышал, что учудила твоя любимая Россия?

Лях был стихийным русофобом, а по каким причинам, он бы и сам не смог сказать. Это было тем более странным, что все хохляцкое он ненавидел еще больше. Сергей же Палыч был, возможно и не русофилом, но, по крайней мере, считал, что война Украины с Россией это ужасная ошибка и тому, кто это устроил, нужно вырвать яйца с мясом. На этой почве у них с Ляхом возникали споры, доходившие до криков, визгов и посылааний, напоминая споры между почвенниками и англоманами в 19 веке.

Но тут вдаль показался патруль, и друзья натянули маски по самые брови, надели резиновые перчатки и стали постепенно остывать. А скоро беседа вошла в мирное русло и зашла о недавних событиях в Вацковском переулке. Там три дня назад похоронили Анатолия Оноприенко, известного в прошлом культуриста Аполлона, который, дожив до шестидесяти лет, вдруг омрачил свой юбилей самоубийством. Теперь два друга спорили, каким именно способом Аполлон это совершил, не замечая, что это, в сущности, детали, а главное, что не стало человека, тихого и невредного.

А вскоре они попрощались и пошли по домам, потому что было уже пол-первого,

и Сергей Палыч не хотел опаздывать на пельмени. Как гласит народная мудрость: „В большой семье свои нюансы“. Пельмени теткинны удались, и они кушали их с маслом и с уксусом, наливая рюмочки и произнося тосты. Зинаида, выпив, смягчилась. Тетка сидела на краешке стула и деликатно жевала беззубым ртом. Вечером Сергей Палыч лежал у себя и смотрел все подряд: „Козел отпущения“, „Невеzenie“, „Пугало“, „Копы“, „Паровоз Генерал“, „Навигатор“ и ужасную „Лодку“. Потом ему взгрустнулось. Он думал о Бастере, как он не смог приноровиться к эре звукового кино, как разорился, как стал пить запоем и курить по три пачки, как состарился и умер от рака легких в 67-м, когда ему было семьдесят, а Сергею Палычу было пять.

Он чувствовал себя совсем несчастным, когда позвонили дети из Финляндии. Сын сказал: „Ну, старый симулянт, тебя и ломом не добьешь! Расти большой и толстый!“; невестка ему улыбнулась и сделал ручкой, а внучка представила дедушкин портрет — классическую сахарную голову с ниточками по бокам, и рассказала стишок на финском языке. Сергей Палыч вслушивался в загадочный внучкин лепет и умилялся. Вообще, он считал, что Луиза, эта маленькая пятилетняя девочка, должна прожить прекрасную, счастливую, редкостную жизнь и стать если не президентом Европейского Союза, то хотя бы финской писательницей, вроде Астрид Лидгрэн, объездить весь мир, долго жить на Барбадосе и получить Нобелевскую премию два раза подряд. Иначе объяснить, зачем появились на свет и жили свои жизни они с Зинаидой, было просто невозможно.

Зинаида же в троллейбус не попала, у гроба не посидела и была вне себя от злости, так как купила восемь гвоздик, пять из которых стояли теперь в вазе, а три в банке на кухне. Когда Сергей Палыч заснул, то ему приснилось, что он внутри какого-то фильма с Бастером Китоном и его все время возят в инвалидной коляске на высоких тонких колесиках.

КОНЕЦ КИНО

Наконец, час „эм“, или, другими словами, час „икс“, о котором так долго говорили ютубовцы, настал. В одно прекрасное утро Сергей Леонидович, выйдя из подъезда, чтобы сходить в „Железнодорожник“ за плавленными сырками, увидел высоко в небе густо и дымно прочерченные траектории летящих ракет. Судя по направлению, ракеты летели с северо-востока куда-то на вост-зюйд-вест. „Не может быть!“ — подумал Сергей Леонидович, опускаясь на скамейку, так как ноги отказались его держать. Вспомнилось глупое детское: „П... подкрался незаметно, хоть виден был издалека“. В окнах кухонь заблели ошарашенные лица соседей, с треском распахивались заклеенные рамы, слышался тихий ропот. Дети, совершенно очарованные полосатым небом, стояли, задрав головенки. Вся жизнь пронеслась перед внутренним взором Сергея Леонидовича. Но сначала он, по вполне понятным причинам, подумал о сыне Володьке, невестке Вере и внучонке Кристиане в Дании. Затем подумал о жене Галине, пошедшей на маникюр, о теще в Коростышеве, о двоюродной сестре в Краснодарском крае, о дяде Саше и тете Рае в Ленинграде, то есть в Петербурге, а уже потом перед его внутренним взором замелькала его жизнь в виде обрывочных воспоминаний и туманных картин. Странно, что жизнь пронеслась перед Сергеем Леонидовичем не в хронологическом порядке: детство — отрочество — старость и так далее, а вразнобой, россыпью. Так, сначала ему вспомнилось, как в учебке он прокалывал иголкой дни в календарике, дожидаясь такого недостижимого „микродембеля“, и какая тоска брала его, когда он видел, что до весны по-прежнему далеко. Самые употребимые слова в химвате были: „тоска“, „вешайся“ и „все в соплях“, почему-то через букву „н“ — „в сопнях“. Сразу вслед за этим привиделось Сергею Леонидовичу, что он живет в станции с бабушкой и дедушкой. Он смотрит в окно, а за окном метет снег. В сенях жалобно,

по-бабьи, вскрикивает дверь, и в горницу входят огромные люди в кожных и папах, а потом долго играют с дедушкой в „дурня“, а на столе лежит гора семечек и все, не отрываясь от карт, их лузгают, а потом, наигравшись, выпивают самогонки под моченый арбуз, а арбуз из бочки, а бочка в кладовой... На чердаке банный дух от пучков зверобоя... Курица бежит с отрубленной головой... Майкоп, Армавир... „Ты мой миткалевый!“ — говорит бабушка... Вслед за этим вспомнилось Сергею Леонидовичу, как однажды на зимних каникулах в пятом классе, когда они жили уже на Украине, он поехал на турпоезде по маршруту: „Киев-Чернигов-Брянск-Москва-Житомир“, и как он потерял этот турпоезд в Киеве, и вернувшись с Крещатика, бегал по перронам, и какое отчаяние его охватывало, а ранние сумерки все сгущались, и поезда все уходили, пока, плача, он не подбежал к милиционеру, и тот не отвел его на запасной путь, куда переставили турпоезд, и он тут же тронулся. Потом, непонятно почему, память Сергея Леонидовича переключилась на последние события его жизни, как он недавно хоронил друга детства, умершего от „ковида“, и как он не испытывал особой скорби, и много и с аппетитом ел на поминках, понятно, что от нервов, но все же это было скотством. А раньше он тяжело переносил похороны и даже пил таблетки от сердца. Вспомнил, как кто-то сказал на перекуре: „По крайней мере, у Витька есть могила“ — как будто предчувствуя сегодняшнее. Но, вообще-то, эта фраза давно уже стала популярной и часто произносилась на похоронах, как когда-то: „Бог дал — Бог взял“ или „Земля ему пухом“. Затем... Впрочем, сколько бы ни перечислять всех воспоминаний Сергея Леонидовича, все равно это заняло совсем немного времени, пусть не секунду, как когда летишь с балкона или тонешь на зимней рыбалке, но тоже быстро. Да и ничего тут оригинального или своеобразного не было и, наверное, со многими в эти минуты происходило то же самое, и вообще во многих книгах мировой литературы с героями это часто случается,

например, в „Снегах Килиманджаро“. Сергей Леонидович, забыв о плавленных сырках, вернулся домой и набрал жену. Телефон не работал. — Все, — сказал Сергей Леонидович, — кина больше не будет.

Зельдин Сергей, родился в 1962 г. в станице Ярославская Краснодарского края, Россия. С 1972 проживаю в городе Житомир, Украина. Закончил школу, служил в армии, работал стеклодувом, инкассатором, был бизнесменом, сторожем и даже политиком. Публиковался в журналах „Радуга“ (Украина), „Крещатик“ (Германия), „Волга“ (Россия), „Новый берег“ (Дания).

Урмат Саламатов

В ПЛЕНУ

*Илья Николаевич, не называю, а показываю!..
Попытку номер № 1, вам посвящаю.*

В общем, закидываю я ее ноги к себе на плечи... По дому тосковал сильно, по горам нашим, воздуху, людям, по песням заунывным, душу бередящим. Потому представил себе губную гармошку, только вертикальную и как-то затянул... Так сыграл, что немцы встали и вышли из комнаты со слезами на глазах. Когда все кончилось, полковник встала и, оправляя юбку, взгляделась мне в глаза и тоже со слезами поцеловала с чувством, с задержкой, будто солдат, давно не куривший, папиросу затянул. Затем заулыбалась и, пошарив в карманах, вытащила что-то наподобие жвачки и вложила в ладонь, подталкивая ее к моему лицу со словами: „Kauen, Kauen! Die Melodie war schwer“¹. Ну, я и зажевал.

На следующий день сама лично высвободила из плена. Выпроводила за ворота и даже два танка подарила со словами: „In Erinnerung an mich...“². Правда, при этом кричала, не в себе, на своих подчиненных: „Unter meiner Verantwortung!“³. Я руками развел и говорю: „Как я их поведу?.. Я ж один“. Задумалась на минуту. Оглянулась на своих несколько раз и говорит вкрадчиво, будто проверяет — поверю или нет: „Weißt du, lass uns eine Fahrt machen! Ich werde dich zu deinem begleiten. Keine Angst, ich bin hier aufgewachsen — wenn du willst, wirst du es nicht finden“⁴. Развернулась и пошла к танку, вспорхнула как

воробушек и, уже спрятавшись по шею в башне, крикнула: „Nur nicht hinterherhinken!“⁵.

Доехали до места в поле ничейном — ни их, ни наше. Спрыгнули с машин. Стоим. Уткнулись в землю. Молчим.

„Wissen Sie, als Kind, vor dem Krieg, habe ich in einem anderen Leben auch Musik studiert. Und das Instrument gut gespielt“⁶ — говорит. Сдернула штаны. Присела на корточки и не хуже моего, как сыграла на трубе.

Когда все кончилось, она встала, и я с чувством, с задержкой, обхватив одной рукой за тонкую талию, другой за белокурые волосы, поцеловал ее. Вытащил из кармана жвачку, завернутую в кусок газеты и, разворачивая, протянул ей. Она засмеялась и положила в рот.

— Wie kann ich jetzt sein?.. Ich wollte mich an den Geschmack der Melodie erinnern, die ich gespielt habe?⁷

Я улыбнулся, и она в ответ хихикнула.

После мы стояли молча, вглядываясь друг другу в глаза.

И эти голубовато-серые глаза заставили меня обнять ее до хруста в суставах, и внюхиваясь в пропитанные запахом пороха и сырой земли волосы, едва слышно, как заклинание, произнести:

— Останься!..

Она высвободилась из объятий. Спрятала руки в карманах. Отвела взгляд. Улыбнулась. И подминая ногой траву, сказала:

¹ Жуй, жуй! Мелодия-то тяжелая была — (перевод с нем.)

² На память обо мне... — (перевод с нем.)

³ Под мою ответственность! — (перевод с нем.)

⁴ А знаешь, прокатимся! Провожу тебя до твоих. Не бойся, я здесь выросла — захотите не найдете — (перевод с нем.)

⁵ Только не отставай! — (перевод с нем.)

⁶ Знаешь, а я в детстве, до войны — в другой жизни, тоже занималась музыкой. И неплохо играла на инструменте — (перевод с нем.)

⁷ Как же мне теперь быть?.. Я хотела сохранить в памяти вкус сыгранной мною мелодии? — (перевод с нем.)

— Krieg!.. Deiner — wird nicht akzeptiert! Meins wird es nicht verstehen! Sie werden sich nicht demütigen... sie werden töten! Liebe ist nichts für sie! Für den Krieg — war er immer, obwohl er immer gekämpft hat, — тяжело вздохнув, замолчала. — Also ich muss gehen. Auf Wiedersehen!¹.

Глядя на ее удаляющийся силуэт, я переминался с ноги на ногу и, делая два шага вслед за ней, останавливался. Хватался за голову, силясь придумать слова, что смогут ее остановить. Пусть, не навсегда. И минута бы порадовала. Лишь бы еще раз взглядеться в складки губ, ямочку на левой щеке, едва заметные морщинки, в глаза, которые наряду с резкими, светлыми бровями и верой в то, что превыше войны, остались ею нетронутыми. Почувствовать этот запах — дикой лаванды и степной травы — ее запах. Ощутить кислый вкус ее поцелуев. Ощутить то, чего так не хватало зимними ночами в холодных окопах вдали от дома. Еще хоть разок ощутить то, чего еще долго не будет.

Проклятье!.. Прошу! Дай, еще минуту... чтобы понять, о чем она навсегда умолчала...

— Спасибо за танки! — не найдя ничего лучше крикнул я.

— Danke dir!²

— За что?

Она остановилась. Обернувшись, выпалила: — Für alles!.. Dafür, dass er an die Dinge und Gefühle des Ewigen erinnerte, die den Tod nicht fürchten, Muscheln, Feuer... — она, вскинув голову к небу, раскинув в стороны руки, покружилась. — Für deine Seele, die meine Gestalt nicht sieht, einen Feind, sondern eine sieht Mann, eine Frau, die ich selbst schon lange vergessen habe. Dafür, dass du mich so angesehen hast, wie kein anderer aussah. Wenn nicht der Krieg... Auf Wiedersehen!³

И побежала прочь.

Из последнего я многого не понял. Но пообещал себе, что обязательно найду ее после войны.

Обещания не сдержал.

Завтра я умер.

*Рядовой 28-й танковой,
Ваня И. К.
1942 г.*

Саламатов Урмат Саламатович — родился 03 октября 1990 года в Бишкеке (Кыргызская Республика). Окончил Академию Управления при Президенте Кыргызской Республики, специальность — банковское дело. Публиковался в журналах „Южная Звезда“ и „Нева“. Автор книги „Плата за рай“ (Б., 2019). Живет в Бишкеке.

¹ Война!.. Твои — не примут! Мои — не поймут! Не смиряются... убьют! Любовь для них ничто! Для войны — она всегда такою была, хотя та всегда боролась, — тяжело вздохнув замолчала. — Ну, мне пора. Прощай! — *(перевод с нем.)*

² Тебе спасибо! — *(перевод с нем.)*

³ За все!.. За то, что напомнил о вещах и чувствах вечных, которым не страшна смерть, снаряды, огонь... — она, вскинув голову к небу, раскинув в стороны руки, покружилась. — За твою душу, что не видит мою форму, врага, а видит человека, женщину, про которую я сама давно забыла. За то, что смотришь на меня так, как никто не смотрел, — распростерла руки в мою сторону. — Ах! Если бы не война... Прощай! — *(перевод с нем.)*

SUMMARY # 113

In the Times of Troubles – it’s nice to fly to Ancient Greece...

Poetry. The epic poem “So spoke Penelope” – is the result of many years of inspirational work by Tino Villanueva – the prominent American poet. Pavel Grushko is the prominent Russian interpreter. The result is superb. And vice versa – translations from the well-known Russian poet Yuri Mikhailik into English by Eugenia Sarkisiantz. Also short poems by Ivan Volosiuk, Galina Itskovich, Mikhail Brif (all – Ukraine born), Eugene Stepanov, Ilman Yusupov, Natalia Kravchenko, Alex Pushkin.

From short story to novel. The poetical recollections-obituaries by Vladimir Aleynikov; the real life story by Leonid Rokhlin “Russovirus”; the first part of Elena Litinskaya’s novel “The melody not forgotten”; Vladimir Shkerin’s adventure narrative “The emperor’s ring” and mystical stories by Elina Sventitskaya and Vitaly Orlov.

And words and music. The interview with Ada Ibinder, the director of Peter Chaikovskiy museum; the scientific essay by Victor Fet dealing with Vladimir Nabokov and entomology; half-humorous stories by Sergei Zeldin from Zhitomir; Urmat Salamatov’s war fantasy “In captivity”.